

[Polaris]

Сергей Городецкий



Страшная усадьба

Избранные рассказы

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССХСІV



Salamandra P.V.V.

**Сергей
ГОРОДЕЦКИЙ**

СТРАШНАЯ УСАДЬБА

Избранные рассказы

Salamandra P.V.V.

Городецкий С. М.

Страшная усадьба: Избранные рассказы. Сост. М. Фоменко. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 212 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССХСIV).

С. М. Городецкий (1884-1967) известен как поэт, переводчик, критик, литературовед и видный деятель культуры Серебряного века. Куда менее известна и несправедливо забыта проза Городецкого, включающая романы и рассказы. В книгу «Страшная усадьба» вошли избранные фантастические и мистические рассказы писателя, а также некоторые сказки. Многие произведения переиздаются впервые.

© Author, estate, 2017

© Salamandra P.V.V., оформление, 2017

ЗМИЯ

(Из рассказов лесничего)

— Так вы говорите, не обращается? Нет, оно все во все обращается! Изволили запомнить местечко в окрестности, где вы сказали: ого, дрема-то какая? Эта самая дрема годов с десяток назад еще дремучее была. Если там повернуть за огромленный дуб, тропка откроется. И тут же, недалеко, не то в хате, не то в корыте, без крыши и без окон, она и жила. Нелюдимка. Именем-то ее, конечно, своевременно окрестили, да запропастилось имя-то. Из себя высокая, очи сверкучие, и коса вороного крыла и жесткости необыкновенной. Я ее впоследствии за волосы дерганул. Так и прижгло пальцы. И откуда ее к нам шибануло такую — неизъяснимо. Народ у нас более русый; черемисьё, известно, коричневое. Да и не скуластая она была, и глазастая — не от них. Так что таинственного происхождения.

Парнюги к ней шлялись шибко. Я тогда мальчонкой был, усы нащипывал, а и меня, бывало, хлестанет жаром от нее так, что бежишь в реку нырять — едва отныряешься! Сила была в ней такая. Другая бы давно при таком житье себя потеряла, а она королевой ходила. Оборвана вся, а лохматый кумач висит, как мантилья порфирная.

Деревенька ее на горе притулилась, где лес клином нивы раздвинул. Да она туда и дорогу забыла. Видать-знать никого не хотела. Не усмотрел никто, как олешила девка. Лесто, чай, не теперешний был. Никакого удержу не было растению. Наплетет, напутает, узлами навяжет, уж места больше нету. Глядь — и без места еще высунулось. Если, примерно, остановиться на минуту, сейчас же тебя обрастет и заглушит всего. Побелеешь да скрючишься в клубок, помоги, Господи, выбраться, да чтоб на тебе листьев не выросло!

Она все это к рукам и прибрала. Логово-то ее все крапивой заросло. Ни за что не позволяла повыдергать, хоть и нашлось бы охотников на эту работу сколько угодно. Так уж все и знали: у кого ноги в волдырях, известно, где был.

Смешно вспомнить! Баб наших данью обкладывала! Наискала молодлица себе грибов в кузов, или там земляники, когда подпекается, — непременно, чтоб ей десятину заносить. Слушались дуры. Лес, будто, ее.

Был у нас Митька, надо вам знать, по прозвищу Бубенец, или Бубенчик, если позвать ласково. Веселый такой, заливающийся. Всякому в глаза прямо смотрит, душу вынимает, свою рядом кладет: целуйся, мол, душа человеческая с такой же. Правда, была у него недочетка в голове; кудрями, видно, ум изошел, да за простоту эту его еще больше все любили. Отец женил его рано, на девке хорошей, приданнице. Косил у нее один глаз маленько, ну да, ведь, косым сбоку-то еще видней смотреть и приноравливаться. Пришелся к ней Бубенчик, как ко всякому человеку, ладно. Она тоже его не отпихивала. Самая выходила пара. Справили свадьбу, начали жить. Прошел год без малого, встречаю я Бубенчиху и спрашиваю:

— Здравствуй! — говорю. — Скоро ль на крестины звать будешь?

Засмеялась она тут девка-девкой и говорит, вбок подмигивая:

— Мы с Митькой приятели.

А сама вся красная, не то с досады, не то с радости — не разобрал я по малолетству.

Перезимовали мы эту зиму, справила весна свое дело, и стали у нас поговаривать, что Бубенчик заволдырничал.

Так у нас звали, если кто с Нелюдимкой спутался.

Поговорили, поговорили, а к Рождеству у Бубенчихи явился ребеночек.

Будто аист принес, как в сказках бают.

Опять-таки по малолетству я запомнил, как это у нас все поверили, что не была баба тяжелой, а родила.

Дите-то я помню: прибегал смотреть с товарищами. Мелковатый такой, да черноватый. Мальчишка. Бубенчик притаился, будто не его дело. До самой весны у нас бабы шушукались, качали головами да охали. Просто, куда ни посмотри, на колодец ли или по дороге, стоят парами и ведрами стучаются, а изба без воды стой. Большое было перемещение умов. Но деревня, сами знаете, все принимает, только время на перемол дай. Покатилась жизнь наша по-вчерашнему.

Про Нелюдимку забыли и думать.

Ну, уж к лету она о себе напонила. Была, была, а тут за всякое бьлье перешла. Опутала, околдовала, полдеревни в свои сети заплела, паучиха беспутая. Такое у нее по ночам деялось, что совы разлетались, куда глаза глядят, а уж на что бесстрашные. Одна под застрех к нам залетела и выла, как малец напуганный, пока ее не убили.

Я и не знаю, опаивала ли она чем, или так оморачивала, только к ее логову прямо в черед становились. Шла молва, что тоскует она очень, и не будет ей никакого удержу.

Холостые, женатые, малые и старые ходят, как черным крестом отмеченные, работу побросали, на лице зелень выступила, либо в кабак, либо в лес — все другие дороги потеряли.

Привяла деревушка, как подкошенная. Только слышно, как дети орут от материнского боя. Оплошали наши дела. Как вывернуться?

Собрались, которые уцелели, поговорили недолго и решили, что ничего нельзя другого сделать, как разорить Нелюдимкино гнездо, да загнать ее в лес подальше, чтоб и хвоста не высовывала. Теперь чугунок врезалась, а тогда верст на сто леса стояли и запаху человеческого не ведали. Вот туда ее, значит, и засмолить.

Быть этому наутро, когда там все вповалку спят после веселой ночи.

Подбирались тихохонько мы. Хоть и с дрекольем, хоть и с кнутами, да с опаской: а ну, там сила? Заходили тремя стенами, окружить чтобы. Отчу читали и любопытствовали люто.

Подобрались и нагрянули с криком и свистом.

Пошла работа!

Спросонья человек зверем бывает, ну и мы тоже за деревню осерчали очень. Они головнями, мы кнутами да палками. Напировались досыта, пока Нелюдимку не увидали.

Тут у меня руки и отсохли.

Я вам докладывал, в какой она дыре жила: только одни стены, да и те из гнилушек с землею. Капнула мне чья-то кровь на руку, поднял я голову и вижу: царица.

Вышла на край своей крепости и смотрит на сражение, глазом не поведет.

Видал я ее раньше мельком, да не разглядывал.

Коли б не за тем пришел, чтоб бить ее, да гнать, сейчас бы жизнь свою к ногам ее положил: володей навеки.

И где ж это берутся такие очи, такое все, как у нее взялось?

Чувствую, что еще минута малая, и стану бить своих, ее защищать, да как закричу:

— Вот она, змия подколодная!

Наши-то в драку вошли крепко и голов бы не подняли без моего крику.

Кинулись тут на нее, я тоже за косы схватил, да удержать ее нет возможности. Вывернулась, выскользнула, только тряпки в руках у нас оставила и птицей понеслась в лес, крича уж не как птица, а как ведьма или сам леший.

За нею все, оставляя драку, утирая кровь на бегу, рутаясь и свистя, как на охоте. Только кнутом и доставали передние. Исхлестали же ее все же здорово.

Кто не бежал, тот логово доламывал. Хотели поджечь, да побоялись лесного пожара.

Сгнула она с этих пор, будто и не было ее.

Кому досталось в драке, раны стал залечивать; кто целым вышел, — похохатывал, да руки потирал: чесались после бойкого дела.

Что ж, вы думаете, тем все и кончилось?

Застегали ее до смерти? Нет! Ее нельзя убить до смерти. Она живучая; вы послушайте дальше.

Зажили мы, значит, опять по-вчерашнему. Изредка у охотников на сердце поскребывало, как серый мышь лапкой. Но как вспомнишь, что доброе дело сделал, все рукой снимало. Или в знойную ночь подкатывало под сердце у тех, кто с Нелюдимкой знавался. Но вспоминали, что грех миновал, и откатывало от сердца.

Я рос, к лесному делу приспособливался.

И уж сколько мне лет от тех происшествий отсчитать надобно, не скажу наверно. Только живу это я в лесу, топлю смолу, о невесте, своей будущей жене, думаю. Месяц Тра-

вень на исходе, и сверчки уж скоро застрекочут. И как раз это, что я вам еще рассказать хочу, приходится на Исакия, когда все змеи скопляются и едут поездом на змеиную свадьбу.

Полдень.

Лесничий дед храпит на печи — я ему в помощники приставлен. И приезжает тут Бубенец с женой. Бубенчиха толстая, косит весело и ребеночка ждет. Первенец их тут же на телеге сидит, лопочет по-своему. Я тогда же заприметил, что он лесу больно обрадовался.

— Где бы это у вас ивняку наломать? Здравствуйте! — говорит Бубенчиха.

— Что ж это вы поздно так корзины плести хватились? Ивняк вырос давно и ломкий стал, — говорю я. — Здравствуйте!

— Ничего, мы размочим. Да нам и не корзины плести, а люльку, — говорит Бубенец, и весело так становится от его взгляда, которым он показывает на тяжелую жену.

Показал это я им ложбину, где ивняк рос, вылезли они и пошли, а телегу с мальчонкой оставили. Сидит мальчонка, глазами смотрит, будто ждет чего. Мне и невдомек.

И опять-таки я не знаю, куда я запропастился на короткое время, а она тут и приползла к своему сыну. Нелюдимка-то. Желтая такая, пятнистая, длинная, а очи, как две капли воды, такие же. Кинулся я к мальчонке — глаза выпиты и на шее укус. Подрыгал маленько и отошел. Кинулся я к Невидимке, змие окаянной, а ее и след простыл.

— Бубенец, Бубенец, на тебя горе пало!

Пока прибежал он с пуком ивняка, мальчонка застывать уже начал.

Долго, долго смотрел Бубенец на своего сына, и белый такой был от испуга. Потом зорко посмотрел в лес и со злостью крикнул:

— Взяла-таки свое! Ну, ладно. У меня тоже есть свое.

И повалился плакать на сырые мхи.

Пока-то доплелась на крики тяжелая Бубенчиха! Завопила и она над мертвым, да Бубенец уже успел прибрать себя к рукам и так на нее крикнул, чтобы плода не трево-

жила, что у нее сразу слезы высохли, как на ветру.

Тут же в лесу хотел закопать Бубенец сына, да попа испугался и повез в село, завернув в холщовый мешок. Поехали они, как еж пополз. Вся телега оцетинилась нарезанным ивняком.

Вот, собственно, и рассказ мой кончен.

Одно меня занимает. Любопытствуете? А вот что: как отдавала Невидимка Бубенчихе своего ребенка? И как взяла Бубенчиха этого ребенка? Но сие тайна материнского сердца и любящей души.

Если она выползет когда-нибудь мне навстречу, непременно спрошу ее: зачем отдавала, коли назад взяла? Или хотела отдать, да не смогла? Или отомстила за то, что в змеиную шкурку из людского образа ее вогнали?

Все расспрошу, а когда с вами увижусь, опять расскажу: вы слушать мастак.

3974

Старый, расшатанный, в дождях и снегу заржавивший на себе все, что ржа берет, стоит он там, где начинается пригород с разваливающимися дачами, маленькими лавками, продающими что угодно, и хмурыми, заеденными беднотой и горем людьми. За ним стоит забор, за забором сложены дрова, и вывеска гласит об этом почему-то по-немецки: «Holzverkauf». Перед ним проходят рельсы трясучей конки, одной из последних синебоких старушек, влекомых парой ленивых кляч под патриархальное посвистывание и постукивание кнутовищем о железный передок вагона.

Я его заметил, едуци на империале в один из осенних вечеров. Да и нельзя было не заметить: вагон остановился так, что он оказался как раз передо мною. Ветер неистово трепал бляху с номером, огонь керосиновой лампы мигал, словом, это был обыкновенный уличный фонарь старого типа, причем фонарщик, чтоб не возиться каждый раз, отворяя его, вынул с одной стороны стекло и поставил его внутри.

Этому фонарю суждено было осветить мне два человеческих лица в такую минуту, когда на лицах отражается вся душа, и все мытарства и теснины, которые ей, вольной и прекрасной, приходится претерпевать, искажаясь и унижаясь без всякого предела.

Ехал старичишка, розовый и вертлявый, в выцветшем до желтизны на плечах, но крепком пальто и в серой шляпе не то отыгравшего свой век шарманщика, не то захудалого пожарного репортера. С ним была девушка в большом, надвинутом на глаза платке, хорошего роста, сильная и быстрая в движениях. Дочерью она ему быть не могла — уж слишком разная была у них порода; еще несуразнее была бы мысль о какой-нибудь романтической истории. Скорей всего, их связывало общее дело, причем старикашка был заинтересован не менее ее, но делал снисходительный вид. Разговаривали они громко, и только иногда вдруг понижали голоса до шепота, и, очевидно, разговор этот был начат гораздо раньше, чем они влезли на конку.

Дело шло о каком-то ребенке, которого надо было кому-то передать. Девушка требовала, чтоб старик сам пришел ку-

да-то или сказал бы, где живет. Старик не хотел ни того, ни другого и обещал прислать доверенное лицо.

— Как же я узнаю, что это от вас, узнаю как? — кричала девушка.

В это время вагон подъехал к фонарю и остановился, так как тут разъезд.

Старик в ответ ей хихикнул, огляделся и, сообразив что-то, нагнулся к фонарю и поманил девушку нагнуться.

Я видел, что он приподнял рукой фонарный номер и показал его ей.

— Запомнили? — сказал он.

— Три тысячи девятьсот семьдесят четыре, — повторила она медленно, и я невольно запомнил это число. Она еще добавила:

— Дело кончено.

Как только тронулся вагон, я при свете фонаря заглянул им в лица.

Прекрасные, темные глаза девушки были озарены какой-то мстящей злобой, а ее рот был искажен сладострастной гримасой, будто она только что получила удовлетворение и наслаждалась им.

Старикашка следил за ней, и у него алчно горели глазенки, как у счастливого купца в момент удачливой покупки. Бегала боязнь в глазенках, что вдруг дело сорвется, но губы уверенно улыбались.

Она сидела прямо и смотрела перед собой, он изгибался перед ней, заглядывая снизу.

Скверное какое-то дело они решили, и мне было тяжело попасть в невольные свидетели этой сделки.

Скоро они слезли и, размахивая руками, провалились в один из самых глухих переулков.

Все-таки я не понимал, что произошло при свете старого фонаря.

Осень в тот год была мучительная и долгая. Снег не выпадал, ветер метался под облаками и на земле, не находя успокоения. Я часто бродил по окраинам пустынного парка. И вот однажды я увидел, что на траве сидит девушка в большом платке и плачет. Так это было странно и неужи-

данно, и в то же время так нужна была всей плачущей осенней природе эта одинокая девушка, что я остановился, грустя и созерцая. Мы разучились подходить к чужому горю естественно и просто, но все же, когда видишь человека в горе, чувствуешь в себе какие-то клочья древней мировой любви, какой-то смутно сознаваемый порыв подойти, утешить, исправить что-то в мире.

Я испытал этот порыв и отдался ему. Я подошел к ней, стал на колени и посмотрел ей в лицо. Почти в тот же миг я узнал ее по темным глазам и надвинутому на них платку. Старый фонарь, старикашка и весь непонятный разговор тотчас воскресли в моей памяти.

— Три тысячи девятьсот семьдесят четыре — вы об этом плачете? — спросил я ее.

Испуганная и недоверчивая к первому моему движению, она теперь широко раскрыла глаза, на один миг перестала плакать и, уронив лицо в колени, заплакала еще сильнее прежнего.

Я выждал, пока пройдет эта волна отчаянья, разглядывая девушку. Она не была работницей, судя по одежде.

Подняв лицо, она спросила меня еще сквозь слезы:

— Да, об этом. Вы откуда знаете?

— Если я это знаю, вы можете рассказать мне все, — сказал я, — вам будет тогда легче.

Она в последний раз посмотрела на меня недоверчиво, скинула платок и стала поправлять волосы. Я никогда не видал таких сильных волос. Она грубо подобрала их с лица и закрутила распавшуюся косу в крепкий узел.

— Вы и старика знаете? — спросила она.

— Да, я видел его вместе с вами.

— Один раз?

— Один раз.

Она опять готова была заплакать, но сдержалась на первой же слезе, крупной и выкатившейся, как градина. Видимо, она решила говорить.

— У меня сын был, — сказала она и закусилла свои губы.

Теперь я понял, что еще в ней было, чего я не сумел назвать ни при первой встрече, ни в начале этой, второй: ма-

теринство. Сильная грудь была у нее и ловкие, уютней всякой люльки, руки. И в глазах не было той тихой тайны, которая туманит и влажнит глаза всех девушек. У нее в них была прямота и неистовая честность, как у всех молодых матерей.

— Да, сын, — повторила она и продолжала: — год тому назад. Отец мой — гармонный мастер, я единственная дочь. У нас работал он, Ванька Чертов. Фамилия по человеку бывает. Играл он так на гармонии, что не усидишь на месте и куда он захочет — за ним пойдешь. И заиграл он мое девичье сердце. Когда спозналась с ним, почти как без памяти была. А ему только смешки да усмешечки. Как опием, прожег он меня, окаянный. Провалялась до полудня, слезами обливаясь. Встала, вышла и отцу в ноги. А он побелел весь и бить не стал, только пострашнел очень да говорит чуть слышно:

— Чертов спозаранку расчет взял.

Хотел бежать отец, да некуда. В участок я не пустила. Только зубами скрипел, глядячи на мою искусанную губу. А я сама, кабы знала, где его найти, глаза бы ему выцарапала и с радостью распорола бы утробу!

Она остановилась, чтобы перевести дух, и глаза ее сверкали подлинной ненавистью. И вдруг, приблизившись ко мне и оглянувшись, она продолжала шепотом, хоть никто услышать нас не мог в пустынном парке:

— Он и вправду черт был, настоящий черт! Так люди не любят. А, главное дело, все хохотал, да искоса посматривал на меня. И волосы в завитушках черные, как смоль, все в них спрятать можно. Я отцу этого не сказала, а сама давно знаю. И привел же Бог меня, несчастную, загубить свой век с дьяволом!

Чтобы не расплакаться, она опять замолчала на минуту, а потом заговорила с нежностью и тоской:

— И ведь засеял он меня, грешную, пустой не оставил. Восемь месяцев носила я и выращивала дьявольское семя. Ребеночек родился в отца, черноватенький, и зубы пошли у него рано так, как не бывает. Замучилась я с ним, обессилела. То видеть его не могу, зашвырнуть куда подальше го-

това одним взмахом, то к груди прижму, как родное свое, а он грудь-то возьмет и укусит. И опять плачу, не знаю, что мне делать с ним, как развязаться. Целый год промучилась с ним, молодость губила. Стал он становиться на ножонки, крикливый да смешливый, и увидела его у меня одна старушка знакомая. Заговорила со мной.

— Ты, — говорит, — девушка, младенца своего не любишь.

— Я, — говорю, — не люблю, коли правду сказать, а может, пуще всего на свете люблю, коли самую настоящую правду сказать.

— А ты самой настоящей правды не трогай, — говорит старуха, — она для людей заказана. Отдай ребеночка, кому скажу.

Поверила я ей и задумалась. Свела она меня со стари-чишкой, которого вы знаете. Плакала я плакала и отдала, потому что чертов сын, а не мой.

Она опять понизила голос, и в глазах ее проблеснуло безумие.

— Зачем же старику ребенок? — спросил я, хоть знал почти наверное, зачем.

— Он нищих делает, — ответила она глухо.

Теперь мы замолчали оба.

Я вспомнил об этом ужасном промысле. Я вспомнил, как мне однажды маленький калека рассказывал, что ему нечаянно добрый дедушка вывернул ноги. Это было где-то в глуши, но не всюду ли еще глушь на моей родине?

— Как же он нищих делает? — спросил я.

— Обучает петь жалобно и выпрашивать, добрых прохожих выбирать, слушаться главного нищего и самыми маленькими командовать.

— Вам хотелось бы теперь вернуть ребенка? — спросил я.

— Вы знаете, где старик, вы знаете, говорите скорей, я на край света побегу, я хочу своего сына, отдайте мне моего сына!

Она кричала, протягивая руки, и упала на траву.

— А старуха?

Она подняла голову. Глаза у нее стали злые.

- Старуха говорит: уехал.
- А как зовут его, она знает?
- Не знает.
- Вам не вернуть сына, — сказал я.

Она поднялась с травы, и в глазах ее блеснула дикая радость. Слезы высохли. Ветер сорвал с нее платок. Она нагнулась ко мне, роняя мне волосы на лицо. Страшны были ее расширенные, сочно-темные зрачки на молочных белках. Прошептала:

- Ведь он чертенок.

И, схватив платок с земли, она побежала от меня в чащу, и я увидел, какие у нее быстрые ноги. Силищей и сумасшествием молодости повеяло от этого бега. Ветер свистел, взметая с земли листья, а в небе прорывая клочковатые синие окна. Что-то торжествовало и плясало на радостях дикую пляску.

Она давно уже скрылась в чаще, а я сидел и вспоминал ее лицо, каким увидел его в первый раз, искаженное мстящим злорадством, при свете фонаря № 3974.

И я думал:

— Где ж самая настоящая правда, заказанная людям, по словам старухи, и отчего нельзя ее трогать?

ВОЛХВЫ

Слишком рано и слишком ярко для несгустившихся еще сумерек встала в этот день над городом огромная, с неровными, лохматыми лучами звезда. Казалось бы, одно ее появление должно было прекратить всю городскую, уличную и в домах суету, заставить вздрогнуть весь город и замереть в созерцании, пережить этот созерцающий миг в таинственной тишине и разрыдаться потом громовой радостью, всеобновляющей, всеискупающей и перебрасывающей в будущее. Но ничего этого не было: звезду не замечали. Деловито змеились улицы, и, как всегда, мелок был и ничтожен был их торопливый грохот. По-муравьиному, но без муравьиной легкости и четкости в движениях, суетились люди, и бесстыдные, квадратные фасады стояли в кадрили, как всегда.

Но не все не замечали звезду.

Эдуард фон Эксперименталь, профессор, председатель главного комитета союзного общества физики и химии, посвятивший всю свою седую опытность и весь неостывший пыл исследователя революционеру естественнонаучных мировоззрений, радио, а карьеру свою начавший в обсерваториях, у бесконечных лент, смиренно отмечающих ход светил небесных, и терпеливых негативов, похожих на изрешеченную ловким стрелком мишень, — увидел в цельное окно своей угловой, в седьмом этаже, квартиры слишком яркую и слишком раннюю звезду своими зоркими, уж острой старческой зоркостью, глазами. Он достал с верхней полки высокого шкапа тяжелую, давно не вынимаемую медную трубу и, растянув ее, долго наблюдал звезду. За белыми и спутанными клочьями усов пряталась по-детски радостная, странная улыбка, и руки его отчего-то вздрагивали, а в глазах, — но ведь один глаз видела только звезда, а другой был зажмурен. Окончив наблюдение, он сложил трубу и коснулся длинным белым пальцем головки зеленой ящерицы. Неслышно и неспешно стал в дверях ветхий лакей.

— Бонифациус. Шкаф пять, полка три, красный ящик, седьмой пакет снизу. Библиотека.

— Пять, три, седьмой. Выслушав, исполняю.

Минутная стрелка поднялась на несколько делений, и Бонифациус опять стоял в дверях с пожелтевшим, изветшавшим небольшим пакетом.

— Дай сюда, Бонифациус. Можно без подноса.

И, приняв пакет со старческих ладоней, он отпустил Бонифациуса.

Тогда раскрылся пакет.

Выцветший дагерротип большеглазого, крупноротого, гололобного старца и остро нацарапанная на нем надпись.

Эдуард фон Эксперименталь погрузился в созерцание.

— Ты не знал, что такое радий, учитель. Но ты звал меня к будущему. И вот уж опять стало прошлым то, что тогда казалось будущим. Да, старик, ведь и я уже старик! Мы братья в седине. И я опять вижу будущее, черт возьми! Ловко задумано, старик? Недурен был замысел, правда. Однако, ты порядочно пожелтел и стерся. На правом виске у тебя еще оставался вихор, и дагерротип его отметил, а теперь ничего не видно. И глаза тусклые. Исчезаешь, старина. Голова-то кверху, к будущему зовешь — это еще видно! Ну, ложись обратно. Или поцеловать тебя? Может быть, больше не увидимся, не вспомню поглядеть. Так и быть, поцелую, ты ведь держал это в руках и смотрел на это...

И дрожащая рука опять звонит.

— Бонифациус! Пять, три, семь, в красный ящик, библиотека.

Эдуард фон Эксперименталь погрузился в размышление.

2

Ту же звезду, в тот же час и в том же городе заметил Иван Фомич Мотыга, приват-доцент при кафедре политической экономии. Он только что закончил главу девятую, части второй, тома первого своего огромного труда под заглавием «Несколько частных по вопросу о нашей текстильной промышленности», и был доволен, что поставил

точку еще до сумерек.

— Ковырай, ковырай, доковыряешься! — сказал он себе любимую поговорку и, так как был хромотат, постукивая пошел в столовую.

Рабочая его комната была во дворе, столовая темна от природы, но перед ней был проход с окном, очень высоким, в небо, в ту часть его, где теперь сияла необыкновенная звезда.

Мотыга остановился, увидя ее, взялся руками за высокий подоконник и широко раскрыл глаза.

Мотыга был утопист.

Утопические сердца слабы к звездам и не таким.

Мотыга не мог оторваться от этой звезды.

— Там рабочие в спичечном производстве не так угнетены. Там вообще не угнетены, — думает он, — однако, отчего у нее такие лохматые лучи?

— Ивашко, мокро стынет, — позвала его жена из столовой.

Он оторвался, вышел и сел за стол, но продолжал думать. Насмешливо качался маятник перед ним в стеклянном ящике часов. Он в такт ему говорил:

— Ведь стоило б найти пигмент, который перекрасил бы всю жизнь в новые цвета, всю жизнь от верха до низу. Быть может, он там найден, быть может, там он действует с самого начала органической жизни, и оттого лучи у нее такие лохматые. Ведь это теснины, теснины — мозг высшего существа на планете Земля. Скупое всего отпущено на эту планету. И горела она, вероятно, медленным, неполнопламенным огнем, когда горела. А там, где больше огня, там сложнее родилась природа, чудовищней развились животные, могущественнее воцарился царь той природы, соответствующий нам, жалкому человечеству земли.

Я устал от своего девятичасового рабочего дня. Я хочу новых органов восприятия и обработки впечатлений. Именно в этом ключ к новым формам социальной жизни. Пора прекратить этот кошмар выеденных глаз, изъязвленных рук, испепеленных легких, которым невидимо для многих окружена уютная наша жизнь.

— Пей кофе! — сказала жена.

Мотыга посмотрел на стол. Прекрасная цветистая скатерть лениво и уверенно раскидывала свои завитки и разводы ярких, ядовитых красок. Мотыга судорожно схватился за угол скатерти и прохрипел:

— Откуда это?

— Давно, — ответила жена, подымая кофейник налить себе еще кофе.

— Прочь, — закричал Мотыга и, поднимаясь, сдернул и завихрил в воздухе прекрасную скатерть. Заметались яркие цветы, неестественно сталкиваясь и разлетаясь под торопливый звон исполнительной в законах тяготения посуды.

— Если ты заработался и хочешь гимнастики... — сказала жена, но Мотыга прервал ее, бросаясь к портьерам и нежным занавескам:

— Да, я хочу гимнастики. Земле нужна она!

В вихре пыли и материй он был страшен.

И жена ушла, закрыв электричество.

В темноте Мотыга очнулся и, красный, встрепанный, едва натянув в передней мерлушку, побежал по лестнице, крича:

— Эдуард, Эдуард, ты поймешь меня!

3

Впавший в детство профессор мировой истории Момзензон складывал девяносто третьего петушка для синих полчищ дикого Кира, восставшего против красных армий Наполеона, когда та же звезда в тот же час воссияла за его окном. Бывший двойного размера в сравнении со своими солдатами Кир еще лежал, высоко подняв одну ногу, на каком-то словаре, а Наполеон уткнул носом в кучу своих армейцев, и до сражения было еще далеко, когда засияла звезда.

Увидев ее, Момзензон улыбнулся трогательной, уже лет десять не сходящей с его лица улыбкой и поманил ее паль-

цем. Звезда затрепетала сильнее лохматыми лучами и пробежала несколько миллионов верст по небесному склону. Момзензон благодарно улыбнулся ей и залепетал:

— Видишь ли, в истории очень много скуки. Непременно все после одного случается, одно за одним, одно за одним — ужасная канитель. Какая-то длинная нитка, и бусы на ней, вот и вся история. Я теперь занят реформами в этой области, и у меня предстоит генеральное сражение между Киром и Наполеоном. Понимаешь ли, я снял их с нитки и посмотрю, что из этого выйдет. У меня даже голова слегка кружится от волнения, а этого никогда не бывало, хотя очень много я знаю с доисторических времен до заисторических. Я очень рад, что ты прилетела, я уверен, что ты сочувствуешь моим планам, ты сама сорвалась с нитки, ты — любопытная звезда и, строго говоря, должна подвергнуться объективному исследованию. Насчет небесных ниток я не знаток, но у меня есть коллега, он слегка впал в детство, но помнит еще преотлично, как что движется. Где он теперь? Надо заглянуть в астрономический календарь.

Сражение отлагается.

Момзензон засуетился, раскрывая шкафы и перебирая календари за пятидесятые, шестидесятые и семидесятые года. Найдя то, что было ему нужно:

— Эдуард фон Эксперименталь, лаборант обсерватории, — он спешно укутал шею в белый шарф, надел перчатки на меху, высокие калоши, шапку, шубу, взял палку и поехал по давнему адресу.

4

Эдуард фон Эксперименталь все еще был погружен в размышления, когда перед его дверью, на лестнице, встретились Мотыга и Момзензон.

— Не знаете ли, что написано на этой двери? Я полгорода объехал, — спросил Момзензон.

— Именно то, что надо, Э. фон Эксперименталь, мне именно это и надо. А вам? — ответил Мотыга.

— И мне именно это. Вы по поводу звезды, вероятно?

— Звезды! Звезды! Откуда вы знаете, чудесный старикашка, дайте я вас поцелую!

— Я думаю позвонить предварительно.

— Позвонить, непременно позвонить.

И они вошли, когда открыл им Бонифациус.

— Проси, — сказал Э. фон Эксперименталь, когда ему доложил о гостях Бонифациус.

И они вошли дальше с одним и тем же словом на устах.

— Вас привела сюда звезда, — сказал Э. фон Эксперименталь. — Я сам размышлял о ней. Но куда же дальше она поведет всех нас? Она, несомненно, приближается.

— Несомненно, приближается! — воскликнул Момзензон. — Уже Кир готов был выйти из палатки, когда я увидел ее и поманил. Вот так. Сражение было отложено.

— Не будем вдаваться в историю! — вскричал Мотыга. — Новый пигмент, вот что в ней драгоценного.

— Действительно, она движется по вашему мановению, — ответил Э. ф. Эксперименталь Момзензону, смотря в трубу. — Надо одеваться! Направление ее к восточным кварталам города.

— Мы на извозчиках, конечно? — спросил Момзензон.

— На моторе! На таксомоторе, хотя я еще не ездил на них, — сказал Мотыга.

— Бонифациус! Таксомотор, — приказал Э. фон Эксперименталь.

Молча прождав, пока прибыл таксомотор, все трое оделись и вышли.

— Куда? — спросил шофер.

Все трое подняли головы и руки, показывая на звезду:

— За ней.

— Я не могу смотреть наверх, я правлю, — ответил шофер, — вы сами указывайте путь.

— Я буду наблюдать ее движение и называть его, — сказал Э. фон Эксперименталь. — Труба со мной.

— Я буду переводить ваши слова на язык городских улиц и переулков, — продолжал Мотыга.

— Я буду проверять оба движения! — воскликнул Момзензон. — Это не труднее движения армий.

Исполняя каждый свое назначение, они поехали.

5

Уже остались сзади проспекты, площади и бульвары, а мотор все мчался за звездой, по указаниям наблюдающих. Уж перестали выситься каменные дома, и деревенские лачуги пригибались к земле. Уж редели и лачуги, а мотор все мчался.

— Склонение тридцать градусов! Скорость убывает! Скорость нуль! — кричал Э. фон Эксперименталь, стоя на моторе. Шапка давно слетела, и волосы развевались.

— Тише ход! Ход назад! Стоп! — кричал Мотыга, вглядываясь в тьму, рассекаемую фонарями мотора.

— Победа на обеих сторонах! — кричал Момзензон.

Остановились перед какой-то темной стройкой без крыши и, задыхаясь от волнения, вошли в какое-то отверстие, откуда плыл слабый свет. Дивная звезда казалась остановившейся именно здесь, и свет ее померкнул перед этим слабым светом.

На полу, на соломе, разметав черные волосы, лежала молодая красавица в бреду и полусне. Щеки ее горели, руки двигались, а уста смеялись.

Рядом с ней, в соломе же, спал белокурый младенец.

Вошедшие склонились над ним в тихом восторге.

Какой-то старик поднялся из угла и заговорил шепотом:

— Вчера еще пришли из деревни-то. Она тяжелая, никуда не приняла, везде полным полно. Никого у нас тут не было своих, вот и зашли сюда; соломы, слава Богу, много, и воды старушка-нищая принесла. Спят теперь оба райским сном.

Эдуард фон Эксперименталь плакал. Мотыга рвал солому от какой-то силы, переполнявшей его руки. Момзензон улыбался светлой своей вечной улыбкой.

Чего они ждали, безумные искатели? Не нового ли радия? Не пигмента ли нового? Или новой бусинки с нитки истории? Забыли они о вечном, что двигает жизнь, об едином, что противостоит смерти, о простом человеческом рождении забыли в своих поисках, опытах и работах, и вот ослепительно сверкнула им в глаза эта земная сила, эта земная правда.

Эдуард фон Эксперименталь перестал плакать.

— Мы должны для него что-нибудь сделать, — сказал он. — Я дарю ему часы, мой старый золотой хронометр, он верно меряет время, пусть он много времени ему отмерит.

— У меня ничего нет! — воскликнул Мотыга, и вдруг вынул из кармана белоснежный, ровно сложенный полотняный платок. — Вот, только кусок белого полотна. Я дарю ему полотно, белое, не окрашенное ничьей кровью, ничьи слезами. Пусть он сделает всю жизнь такой же.

— А у меня совсем ведь ничего нет! — залепетал Момзензон, — ни часов, ни платка нет, Кир и Наполеон дома. Я могу только поклониться ему от лица своей науки.

И все трое принесли дары. А младенец тихо и светло спал рядом с чернокудрой своей матерью.

МАСКАРАД

Это было на вечере у знаменитого писателя, и это было с самым знаменитым писателем. Очень долго маски заполняли все комнаты, и зеленую гостиную, и кукушкина цвета столовую, и даже розовый, по прихоти своего владельца, кабинет, и, вероятно, в коридоре жались маски, и на кухню проникали маски: мало ли что кого интересует в квартире знаменитого писателя? И все они были вовсе не театральными, прекрасными и в уродстве и красоте масками, а самыми житейскими, пошлыми, толстыми, потными, назойливыми масками. И потому неприятны были поцелуи, доносившиеся откуда-то из-под рояля, и сплетавшиеся кое-где руки, и торчащие плечи женщин, и мутные у всех глаза.

Если бы сам хозяин не был такого высокого роста, такой рыжей масти и такого ржущего голоса, погиб бы он наверное, как несчастный Лоренцо, чье имя было в то давнее время у всех на устах.

Но, благодаря этим своим качествам, он ловко и сильно пробирался между гостями, затрагивал приятных, щекотал в знак поощрения за ослиным ухом своего издателя, несколько смущенного таким блестящим обществом, ласкал и прижимал к себе свою жену всякий раз, как встречался с ней, и чувствовал себя настоящим хозяином, как чувствует себя хозяин ночлежки над своим пяточковым сбродом.

Кроме своего роста, масти и голоса, он был горд еще своим последним романом, где сложено было в героя немалое количество человеческой пошлости.

Уж такова была страна, что героическое выращивала только пошлость. Иные почвы еще в дремотном состоянии пребывали.

Фамилия героя была откровенной, как и все у этого писателя. Фамилия его была Героев.

Критики уж создали слово «героевщина».

Юные смокинги, изменяя своим невестам, уж говорили про себя:

— Да, я жертва среды! Во мне много героевщины.

Писатель хорошо знал, что он может быть гордым. Еще лучше знали это маски и пресмыкались перед ним, каждая сообразно своему уменью и надетым на себя в этот вечер ка-

чествам.

Все было выпито, съедено, спето, станцовано, сказано, оставалось еще попресмыкаться на прощанье. Был это сочельник, и величавую елку обобрали на память до зелени. На каждой маске висело что-нибудь, взятое с елки: чертик, звезда, орден, золото, вата.

— Уходите скорей! — думал хозяин, тоскуя от уверенности, с какой висели шубы в передней.

Скоро должно было светать первым зимним серым светом, от которого далеко еще до белого света.

Произошел как будто бы такой торг:

— Уходите! — еще раз подумал хозяин.

— Мы еще веселиться хотим, — ответили гости.

— Пожалуйста, уходите!

— Хорошо, мы уйдем, только с условием.

— Принимаю.

— Мы уходим, но оставляем одного из нас. Депутата нашего. Душу нашу.

— Зачем?

— Выразить вам наши чувства.

— Растроган и согласен.

И, действительно, как будто заключили такой или подобный торг.

Бесшумно дамские ножки нырнули каждая в свою калошу, обмотались шарфы около шей кавалеров, накрылось все шкурами и сукнами и вывалилось все на снег в лапы извозчиков, впустив свежий холод в нечистое тепло комнат. Долго еще хлопали кожаные рукавицы извозчиков, разбирая кучу.

— Где ж депутат? — недоумевающе ходил писатель по квартире. — Или ничего этого не было?

И он вошел в розовый свой кабинет.

Навстречу ему протянулась рука из-за его письменного стола, с кресла, в котором он сидел обычно, совершенно так же подавая руку посетителям, принимаемым по необходимости.

Лицо сидящего не было видно ясно, и вообще он не был виден весь сразу, а поочередно высывалась та или

иная часть его тела, в которой являлась надобность. Менялись точно так же его костюмы: рукав протянутой руки был сюртучный, но весь костюм арлекинский, и даже чуть звенели бубенцы. Потом вдруг вырезывалось декольте, и ручка становилась тонкой и томной, но тотчас же все обрастало рыжим волосом, а голос становился неприятно знакомым. Голос менялся, как и все, от дисканта до баса, от девичьего, почти детского, до пьяно-старушечьего, от юношески-восторженного до цинично-стариковского.

— Садитесь! — сказал сидящий писателю.

— Вы депутат? — спросил писатель, невольно сядя в кресло посетителей.

— А вы не узнаете меня? — спросил сидящий каким-то очень сложным голосом, как аккорд всех клавишей фортепьяно. Услышал в нем писатель и ноту давнего своего детства, и лет скитания, и первой любви и первого разврата, и еще целый сонм голосов, слышанных не то наяву, не то во сне.

— Кто вы? — спросил он серьезно.

— Ха-хи, ха-хи! — раздался ему в ответ кашляющий смех, и он с ужасом увидел перед собой Мери Оматовскую, героиню старого своего романа. Она обмахивалась веером. Она состарилась. Но скверная ее красота была во всей еще силе. Но в ее лице он видел свое лицо, свое молодое лицо, каким оно было тогда, когда он писал этот роман.

— Кто вы? — переспросил он тише.

— Вот так, вот так! — защелкал бичом педагог одного рассказа и, защемленные невидимыми коленками, закричали дети. И нестареющее еще лицо писателя смотрело на него самого из морщин и складок педагогической рожи.

И он уж не спрашивал в третий раз: «Кто вы?», а только смотрел жадными глазами, как менялись перед ним видения то живых людей, то созданных им образов, то сегодняшних грубоощутимых масок, то промелькнувших некогда в сознании обликов.

И во всех видениях неизменно явным было его собственное лицо.

В бесконечную пытку грозило обратиться это мелькание, и, вскочив, он бросил тяжелым, темным колоколом, моделью кремлевского Царя-колокола, в то место, где являлись призраки.

С тяжким звоном упал колокол, подзванивая осколками.

Теперь по обе стороны стола сидел он сам, знаменитый писатель, и протягивались, две его руки к двум его телам, показывая:

— Садитесь!

Это было лучше, и можно было минутами себя обманывать, что сидишь не на месте посетителей и видишь перед собой очень похожего на тебя человека.

При некотором же усилии можно было просто думать, что разговариваешь с самим собой в полном одиночестве.

— Итак, вы душа моих гостей?

— Я душа ваших гостей. Только давайте говорить на «ты».

— Ты душа моих сегодняшних гостей?

— Я душа всех твоих гостей.

— И моих творений?

— И твоих творений.

— И, значит, ты моя душа?

— Я твоя душа. Только давай говорить на «я».

— Я моя душа?

— Я моя душа.

— Моя душа — мои творения?

— Моя душа — мои творения.

— Моя душа — мои гости?

— Моя душа — мои гости.

— Я — мои гости?

— Я — мои гости.

— Это невыносимо.

— Выношу.

— Я не могу жить больше.

— Живу.

— Я не напишу ни строки больше.

— Напишу.

— Я ухожу!

— Ухожу.

.

Когда жена, кончив предутренние распоряжения, вошла к нему в кабинет, писатель стоял у двери, комкая в руках чью-то визитную карточку. Напряженное лицо его было бледно, и чего-то никак не могла сообразить его гордость.

— Что это? — спросила жена.

И, переняв карточку, она прочла:

Герой Героевич
Героев.

А на другой ее стороне имя, отчество и фамилию своего мужа.

— Какая глупая шутка! — сказала жена. — Кто это тебе дал?

— Не знаю.

— А с кем ты прощался последним?

— Не помню.

— Вот что значит устраивать маскарады!

И она досадливо хотела разорвать карточку, но писатель удержал ее и сказал для нее загадочно:

— Не мы устроили этот маскарад.

Впрочем, ее уж отвлекла новая дерзость масок: разбитый вдребезги колокол, точная модель кремлевского Царя-колокола.

СКАЛА

Сегодня он решил дойти.

С первого же раза, как он увидел ее, подъезжая к мертвому поселку над морем, царственную и непомерно высокую, его сердце дрогнуло, как дрожит оно у людей при всех роковых встречах. «Живая», — подумал он с ужасом и вспомнил бесчисленные рассказы о том, как она колыхается и сбрасывает с себя всякого, кто пытается проникнуть в ее девственные высоты; о том, как пастух много лет тому назад ушел наверх, а назад пришли одни стада; о том, как в зимние вечера, когда море, не умея замерзнуть, тщетно бьется в оледенелые берега, она совсем наклоняется над поселком и, стряхивая метели, пугает нищих рыбаков.

Говорили, что идти надо три дня. Но все равно дойти нельзя. Есть горы много выше — там, на севере — лучше на те идти: на эту нельзя.

Но он решил дойти и вышел в путь рано, пока еще не наполнилась долина расплавленным золотом. Еще далее сгоревшая и, днем желтая, трава была серая от росы, и далеко сзади, где он прошел, тянулся рыжий тонкий след. Без единого облака голубел над ним опрокинутый купол, четкий контур первого перевала выгибался легко и упруго, и все, что было мучительного в жестокости природы, не допускающей к себе человека, развеялось, как вчерашний кошмар. «Я пошел — значит, дойду», — думал он, и большие верные шаги прокладывали дальше рыжий след по росе.

По временам пышные кущи, только и живые по утрам, смыкали над его тропею обожженные листья длинных гибких веток, и тогда птичий свист и гомон врывается в тихую, утреннюю душу.

В полдень, перед тем, как начаться подъему, он отдыхал и ел хлеб под несоразмерно маленькой тенью великанов-тополей. Теперь он один. На сколько-сколько верст кругом нет людей! Умри — и когда узнают. Закричишь — и он крикнул неестественным голосом человека, привыкшего к однообразным и тихим звукам городов и комнат. Слабое горло скупо разомкнулось, но что-то раздалось и в этой широкой пустыне, потому что напротив поднялась лежащая в камнях полдневная змея и повела египетской своей продолгова-

той головой в серых узорах. И когда она уж улеглась, и все, казалось, кончилось, откуда-то издалека мелко звякнул тот же крик: эху было не лень и в полдень передразнить человека.

Колючие кустарники зачем мешали крепким его ногам подниматься, цепляясь на каждом шагу, стараясь отнять назад этот уже завоеванный шаг неиденной земли? Колючие кусты, изогнутые, кривобокие, горбатые, ростом с человека, зачем хватали его своими беспальными короткими щупальцами за сильные плечи, стараясь повалить навзничь? Мелкий ветер, отдыхающий в зеленых, всюду разинутых маленьких ртах, зачем выскакивал, бросаясь сухими колючками и песком, раньше, чем день докатился до сумерек? И раскаленные камни, зачем звали на свои ступени и ускальзывали из-под ног, только на них наступивших? — Чтоб он свалился вниз. Свалился и не дошел.

Но он, измученный и все-таки сильный, уже видит над собой то, что казалось снизу гибкой линией и что простирается теперь перед ним кривой спиной, морщинистой и мелкоколесной, первого и самого малого из трех чудовищ.

С той стороны спускаться надо было лесом. Можно было ждать, что с высоты откроются дали, но была только лесистая котловина, и над ней, спокойней и ровнее, чем первый, выгибался новый перевал. Лес, заведя в свои чащи, не выпускал из них. Породы не различались, так их было много. Смутный, предвечерний шорох переплескивался наверху. Перепутанные тени заметно удлинялись. Шаги тонули в мягких мхах и травах, и если б не такая чаща, можно было бы сразу скатиться вниз. Но путник не подавался видимой лесной ласковости. «Вечером всегда заигрывает, — говорил он себе, — но вспомни ночи». И, стараясь не замечать ни ленивых птичьих вскриков, ни всей панической жизни леса, он, как чужой, следил за одним: как его верные шаги пожирали пространство.

Вдруг в хор уже примелькавшихся звуков влились снизу новые. Непокорные и необычные, они потревожили сердце идущего. Неужели люди? В пустыне человеческое чутье узнает другого человека по признакам, почти неуловимым:

он был уверен, что догадка пришла раньше, чем стали видны на земле протоптанные места. Сразу опала вся гордыня одиночества, и обыкновенный, почти городской, ум диктовал: может быть, найдешь себе ночлег.

На вечернем солнце заалели старые небеленые постройки. Жители были почти дикарями. Отдирая мясо с тучной туши, подгорающей на вертеле, они сидели неровным кругом в рваных, но ярких тканях. Женщины мало отличались от мужчин одеждами и жестами, у всех был одинаковый черный, жесткий волос. Дети кучей навалились на большой кусок и кричали, как птицы. Отдельно сидел старик с выколотыми глазами и, дергая три струны, вопил молитву заходящему солнцу. А вокруг стоял лес, просовывая ветки на отнятое у него дикарями и оголенное место.

Долго бежали за путником дикие лохматые собаки, надрываясь злобным лаем в ненависти, почти человеческой. И долго сквозь их лай были слышны три струны и молитвенный вопль. Но еще дольше верные шаги продирались сквозь улетающую вниз чашу, и стремительное тело, качаясь, обрывало попутные ветки.

Поздний вечер настиг уже в новой долине. Но сырость и синий туман обволакивали это неведомое дно, и пришлось до ночи спешить на другой склон, обгоняя лес, еще не завладевший им. Отсюда с небольшой высоты открылась та же котловина, но уж в зелено-сизой дымке, сгущенной там, где дикари жгли свою тушу.

Темнота не предупреждала. Не уговаривала уходящий свет уступить ей свое место — прямо столкнула его с острого края и налегла плотно. Как будто этого ждали ночные птицы. Захлопали неуклюжими крыльями. Острые крылья светящихся бабочек из разных мест врезались в темноту. Все молча, молча, а потом началось в звуках. Кто кричал, откуда, чем — в трубу ли, свернутую из коры, в тоненький ли дул свистящий лист, сверху или снизу — не человеческому слуху разбирать. Притаиться, прижаться в самый темный угол, чтоб не заметили тебя — вот все, что человек может ночью в лесу. И звать сон. Но медлит сон прилететь в живое место. Тяжело и медленно опускается

на испуганные веки и, опустившись, еще куда-то временами отлетает.

Когда он, совершивший первый перевал и уже начавший второй, проснулся, серый свет размывал последние ступки ночной черноты в сонных ветках, у подъемов деревьев, в липких объятиях вьющихся растений.

Теперь надо было идти каменной пустыней. Губчатая лава выветривала из себя земли едва настолько, чтобы могло хватать бородастым мхам, лишаям и камнеломкам. Изредка из трещины поглубже пробивался малорослый кустарник.

Идти было легко. Звонкие шаги будили ящериц, и пройденная дорога полна была тревогой низменных гадов. «Я видел вчера лес, — думал он, — и людей в лесу. Людей ли? Я, слабый человек из города, враждую с природой. Я вырву у нее тайну. Я ее увижу. Сын ли ей человек или враг? Не дикарь, а человек». И в ответ понемногу выползал на не успевшее остыть пустое небо желтый глаз утреннего солнца с длинными и косыми ресницами. Камни накаливались незаметно, ютившийся на них холод сжимался и беспомощно прятался в тени, но ресницы солнечного глаза выпрямлялись и отовсюду высасывали его. Но опять было гордо и одиноко в душе идущего, и думал он о пастухе на скале, одолевшем людей, потому что он ушел от них, и одолевшем природу, потому что он живет с ней.

Полдень проплыл над такими же камнями, как и первый вечерний свет. Но как-то странно стали торчать камни, как будто темной природе помогала еще какая-то другая темная сила. Вывороченные и перемещенные по убогому замыслу, они громоздились, как бы пытаясь дать подобие жилищ. Нельзя было догадаться о силах, передвигавших эти камни, если б сами жители не сидели тут же на солнце, серые, как камни. Большие головы медленно ворочались на коротких, слабых туловищах. Страшно было за кривые и тонкие ноги, когда уроды подымались. Не по одному, а кучами, почти стучаясь раздутыми своими головами, сидели они, как молчаливые и неподвижные камни. Но можно

было увидеть, приглядевшись, серую пестроту мелких, неловких движений и услышать пискливый шепот.

И не было странно на них смотреть. Они только продлили и видоизменили жизнь этой природы.

Так думал путник, убегая от ужасного города к окаменелой и голой спине второго чудовища, за которым стояла третья скала — цель его пути. По спине, и вниз таким же каменным склоном.

Опять ночь грузно налегла на землю, еще теснее приликая к гладким камням, чем к лохмотому лесу.

Заснув еще в вечернем свете, он проснулся в предутреннем мраке: сегодня он дойдет.

Покрытая выжженной травой скала лежала, как огромный ленивый зверь, вся в каких-то круглых буграх, и за два шага перед собой ничего нельзя было видеть. Временами терялось чувство того, куда идешь: вверх или вниз.

Все томительное время до первых лучей ушло в пустоту. «Поднимаюсь ли я? — думал усталый. — И куда я поднимаюсь?» Человеческому терпению было непонятно это бесконечное повторение все таких же бугров и котловин, все таких же серо-желтых равнин. Верные ноги стали изменять, и часто на голых буграх нелепо чернело распростертое тело в городской одежде. Но вера и отчаянье в два кнута подымали лежащего, и опять вилась, узлами заплеталась злая дорога.

Когда же, наконец, предстала перед ним на целые версты распростертая спина скалы, пустым оком огляделся он и ничего не увидел, чего не знал бы раньше. Только выше всего он был теперь, и внизу лежали переиженные горы, и море вырезывало берег, и только эти обширные поля казались странными на такой высоте.

А пастух?

И глаза отыскивали темное вдали. Путь до темного не дальше ли был всей дороги до скалы? Обглоданные ветром, с оборванными вершинами, сжались в кучу крепкие деревья, и под одним лежала куча обветренных человеческих костей, а наверху еще болтались на суку истлевшие следы веревки.

ОБЕЩАНИЕ

Борис Пестумский справлял день своего рождения, двадцать седьмой уже раз. Собственно, ему еще не исполнилось двадцати семи лет, потому что, когда он родился, до двенадцати часов оставалось всего несколько минут, а теперь был только десятый. Еще утром в постели он подвел итоги своей жизни и остался ими почти доволен. Жена с некоторым состоянием, двое детей и довольно солидная репутация талантливого беллетриста — таковы были итоги, а будущее сулило бесконечное улучшение. Особенно радовался Пестумский тому мерному, ровному горению, которое только что сменило в нем беспорядочный и пылкий огонь молодости.

Гости, приглашенные на дневной чай, засиделись и разъехались недавно. Это была докучная, но обязательная толпа родственников, с которыми редко встречаешься и мало имеешь общего, но в то же время поддерживаешь внешне сердечные, а внутренне холодные отношения во имя каких-то древних голосов, никогда не умолкающих в человеческой крови. От них остался беспорядок в гостиной, раздвинутая мебель, недоеденные коробки конфет и довольно много совершенно ненужных вещей, привезенных, тем не менее, в подарок. Большой частью, рукоделие кузин и теток. Пестумский перебирал подарки ленивыми руками, когда вошла его жена, переодетая уже в уютное и простое платье. Материнство и хозяйство исчерпывали в ее глазах назначение женщины, но в том, как она проводила в жизнь свои взгляды, было много целомудренной прямоты и прелести. Она не любила ни родственников, ни рассказов, ни литературных знакомых своего мужа, а брала в нем себе только простую душу, насколько она уцелела от постоянных хитрых и яростных посягательств жизни. До нее Пестумский много уже успел растратить, но она как-то сумела собрать остатки и холила и берегла их теперь с настойчивой страстью.

Заслонив собой подарки, она отвела Пестумского от стола, и, приникая друг к другу, тихими шагами хорошо сжившейся пары подошли они к диванчику и начали там прерывистый и скупой на слова разговор давно сговорившихся

людей, понимающих друг друга с полуслова и имеющих уже свой милый, интимный жаргон.

Немного усталые и нежные, они уже трогали в себе заветные струны, ласковыми перстами вызывая к жизни таинственные и спящие в глубинах звуки и чутким слухом внимая расцветающей знакомой музыке, когда резкий, звонкий и твердый, как судьба, звонок вонзился в мелодичную тишину их комнат.

— Кто это? — спросила жена, перебегая из гостиной через переднюю к себе в комнату.

— Да, кто это? — как эхо, слабее и протяжнее, повторил Пестумский, идя сам отворять позднему гостю, и добавил, поймав себя на том, что испугался:

— Больше никто не мог прийти.

Но кто-то пришел, потому что звонок сказал об этом еще звонче и тверже.

В сером, бледная и сероглазая, как к себе домой, вошла девушка и, замедлив на минуту, чтоб сказать: «Я к вам», — пригласила Пестумского в гостиную.

Прекрасное лицо было выпрямлено решимостью, и какая-то определенность сушила ласковые черты.

Пестумский, почему-то не удивляясь, провел ее через гостиную к себе в кабинет, и там они сели друг против друга, разделенные столом, как два берега рекой.

— Борис! — сказала она, и это имя в ее голосе далеким теплом опахнуло Пестумского, будто ветер с юга донес свою знойную негу до его остывшего сердца.

— Борис, вы помните...

— Наташа!

И, весь в порыве возвращенной молодости, он вскочил и протянул к ней руки, раскрывая душу детским грезам, розовым вечерам и острым молниям первой любви.

— Наташа, милая!

И ему захотелось охватить ее и в вальсе понестись, головокружительном как тогда, под открытым небом, на танцевальной площадке дачного поселка, где он познакомился с ней и протанцевал лето — может быть, лучшее свое лето.

Но она оставалась холодна, озаренная каким-то невидимым Пестумскому светом. Она ничего не напоминала собой неприятного, роман их протек яростно, но невинно, не было, казалось, ничего, кроме острой радости в этом посещении, но Пестумскому вдруг стало холодно и жутко, как перед лицом судьбы, которая сейчас заговорит.

— Вам сегодня двадцать семь лет, Борис, исполнилось?
— спросила она, проверяя не себя, а скорее его.

— Да. Ах, нет! Еще не исполнилось: исполнится.

— Как?

Ее глаза помертвели, и губы задрожали в страхе.

— Часа через два.

— Ну, это скоро.

И холодом повеяло от ее слов в комнате на один короткий, но властный миг.

— Помните парк, Борис?

И опять волшебным, влажным и теплым ветром потянуло с юга жизни. Она встала, обошла стол и, склонившись к нему, положила на плечи большие свои и мягкие руки. От лица ее пахнуло свежестью и теплом в лицо Пестумскому, и тихая зыбь радости понесла его в далекое голубое море. А она так и осталась, дыша и глядя прямо в зрачки, с быстрой грудью на отвесе, заслонив его от всего, что было теперь вокруг и баюкая прошлым. Зыбь росла, и плавно вздымались волны нежданного счастья, и, как легкая жемчужная пена на гребнях их, звенел и перекатывался прерывистый ее голос.

— Вы помните, и все, и эту ночь, после которой я целый день была несчастна. Мы ушли с первой дорожки. В глубь куда-то. Я вас любила. У меня щеки болели от желания. Вы должны были поцеловать меня. Ведь вы меня любили. Ведь я была хороша. И вы меня тогда не поцеловали. Все равно мне, почему. Тогда не поцеловали...

Она жгла ему лицо своим дыханьем.

— Поцелуй теперь.

Пестумский, сдержавшись, не без удовольствия, ленивым движением, придвинул свои губы, ясно видимые под расчесанными усами, к ее хорошим, алым и твердым губам.

И она тотчас отошла и села на свое место по ту сторону стола. Только-то? Она была достаточно мила для того, чтоб Пестумского могло забавлять ее посещение. Но он знал, что жена ждет его и, принимая полу-игривый, полу-деловой вид, сказал:

— Ну-с! Дальше что? Или вы только за поцелуем пришли?

— Дальше вот что.

И она по-прежнему холодно, не замечая шутиwego его тона, посмотрела строгими серыми глазами и опять выпрямившимся лицом на него. Как будто не было этого короткого прилива нежности и теплоты, с которым подошла она к нему, чтобы взять у прошлого принадлежавшее ей. Как будто она даже и не вставала со своего места за столом, по ту его сторону. Пестумский ясно чувствовал эти перемены, и ему опять стало холодно и немного страшно. Он смотрел в упор на ее лицо и понемногу вспоминал его. Все было такое же, и семь лет, которые прошли со времени их первой встречи, почти не отняли ни свежести, ни красоты у влажных глаз, алого рта и полных, удивительно милых щек. Но весь смысл лица был другой, чем тогда, хотя что-то неуловимо связывало теперешнее ее лицо, строгое и решительное, с тогдашним, мягким и обещающим. Что? И почему она пришла сегодня? Какое-то предчувствие воспоминания затрепетало в Пестумском, когда гостья, с трудом прерывая молчание, опять сказала:

— Вот что дальше.

И голос ее окреп, и стал звонким и бесстрастным, как у судьбы. Пестумский встал в тревоге, поднял руки, чтоб не дать ей говорить. Как в западне, он вдруг почувствовал себя, как под мечом или под молнией, которая, неминуемо сейчас попадет в него. Но было уже поздно, и она сказала то, зачем пришла. Нелепые слова ее прозвучали просто, почти естественно:

— Вы сегодня умрете.

Пестумский хотел бы рассмеяться непринужденным здоровым смехом, который бы услышала жена, и вошла бы сюда, и весь кошмар рассеялся бы от ее присутствия, и го-

стья стала бы милой, давней знакомой. Но не мог. Даже улыбнуться не мог на эту странную шутку.

А гостья читала дальше приговор:

— Вы обещали мне умереть сегодня со мной.

И воспоминание, острое, колючее, пронзило мозг Пестумского. Он съежился весь и ушел в свое кресло. Да, да, был такой вечер, когда вдруг в суматохе, среди дачной толпы, стала ясной вся пустота жизни, вся роковая ее бессмысленность, непреодолимая ничем.

И две полудетские души, его и ее, со всей прямоотой и искренностью, просто и смело не захотели такой жизни. У них хватило бы и тогда силы умереть, но это было бы слишком сложно, кругом были знакомые и родственники, музыка, скоро должны были начаться танцы, и, пожалуй, где-то чуть-чуть светилась вера: может быть, потом будет лучше. И вот решили подождать пять лет, до дня его рождения, двадцать седьмого дня. Пестумский вспомнил все очень ясно, и сердце его забилося ровнее и быстрее под дальним светом тех годов. Но вкрадчивый голос часов из столовой, отбивая четверть, вернул его в теперешнюю его жизнь, и, быстро встав, он сказал:

— Это была шутка. Вы, конечно, понимаете. Я нашел свою жизнь и могу только улыбнуться на детскую выходку.

Но улыбнуться он не мог, и лицо его было серым от волнения и страха. Гостья это увидела и подошла к нему опять. Тихим жестом матери, успокаивающей испуганного ребенка, положила она ему на лоб и волосы свою теплую руку. Ясным взглядом заглянула ему в самые глаза, и он увидел мелкую росу на концах ее длинных ресниц. Стала к нему совсем близко и, если б было у нее крыло, покрыла бы его совсем и спрятала в свое пушистое тепло. Сказала, смягчая голосом горечь слов:

— Милый! Ведь не нашел ты жизни. Все это — видимость одна. И все, как раньше. Да?

В ее тепле и ласке душа его струилась медленными, сладостными волнами. Мог ли он солгать? Но кругом стояла мягкая, уютная мебель, книги, диван, а за стеной еще уютней. Как отказаться от всего этого? И губы его сжались, что-

бы не ответить против воли: да. Но она следила не только за его губами и все равно узнала, как ответила его душа.

Теперь она стала спокойной и печальной, как после трудной и страшной работы. Тихо подошла к столу и под лампой доставала что-то с груди. Пестумский, почти в лихорадке, тщетно старался надеть на лицо себе маску, чтобы подойти к гостье и прекратить мучение. Он верил, что все кончится, как только она уйдет. Но она сама обернулась и сказала так же мягко и заботливо:

— Вам трудно вместе со мной? Неудобно? Это все равно. Я уйду и умру одна, а вам оставлю смерть.

И она бережно положила что-то маленькое и белое на стол, а другое такое же взяла к себе в муфту. Просты и уверенны были ее жесты, прекрасно и сурово холодное, правильное лицо и, когда она подошла к Пестумскому, ее шаги прозвучали четко, как часы, мерно и неизбежно поглощающие время.

— Прощайте, — сказала она, не подавая руки. И вдруг, как бы изменяя себе, гибким, извилистым движением потянулась к нему, чтоб поцеловать на миг загоревшимися губами мертвый его лоб.

Он ничего ей не сказал и только, когда щелкнула дверь на лестницу, понял, что ее уж нет, и что все, значит, может пойти по-старому. Он старался припомнить полутемноту и негу, откуда вырвал его звонок гостьи, глаза и последние слова своей жены, но все заволакивал жестокий и холодный туман. Что-то иное владело теперь им, и он сел там, где стоял, в углу своего кабинета, в старое какое-то кресло, на которое никогда никто не садился и которое стояло только для того, чтоб занять место. Он никогда не видел отсюда своей комнаты. Все в ней изменилось от перемены точки зрения. Зачем этот резной, неуклюжий шкаф, и книги в нем, которых он никогда не читал и не прочтет? Зачем эти тяжелые колонны письменного стола, где лежит стопа бумаги — в одной и начатый роман — в другой? И зачем начат этот роман? Разве не сказал он уже все, что мог сказать? При чем в его жизни Вольтер, смеющийся так нагло, слепой Гомер и босоногий Лев Толстой, висящие на стенах

в широких рамках на видных местах? Пестумский закрыл глаза веками, руками, рукавом, но красная темнота закрытых глаз была еще тяжелее, и он опять стал смотреть. Оттого, что он нажал себе глаза, теперь туман скрывал всю комнату, и только зеленое поле стола под стоячей лампой сияло яркой полоской. Пестумский без мыслей, почти без чувств водил по ней глазами от карточки к чернильнице, от одной вещи к другой, и вдруг увидел посередине маленькое, белое, уверенное в своем праве лежать там, где оно лежало, и спокойно ждущее, когда можно будет действовать.

— Вы сегодня умрете.

— Какой вздор! — попробовал отшутиться Пестумский, вспомнив ее слова. Но эта мысль была ничтожной, жалкой обезьянкой в сравнении с тем таинственным и огромным зверем, который копошился теперь в его душе, как чудовище в клетке. Маленькое белое, не обращая ни на что внимания, продолжало лежать, крепко и упорно. Пестумский только на него и мог смотреть. Это была, очевидно, крохотная коробочка, очень тщательно сделанная и оклеенная дорогой глянцевиной бумагой. Оттого она так и блестела. Простого не кладут в такие коробочки. Выбросить, подумал Пестумский, но не посмел встать; будто железная, тяжелая рука придавила его плечо раньше, чем он успел приподняться. Тогда покорно и сиротливо опять он ушел в свои мысли, и серыми, огненными облаками поплыла перед ним его жизнь. Все внешние блага, которые он с таким удовольствием подсчитывал сегодня утром, совсем потускнели, как золото без солнца. Какая-то гора загородила свет, и под ее тенью закопошилась неправда. Все дела его за последние годы, большие и маленькие, все повести, рассказы, книги, все знакомства, женитьба, дети — все это неправда. Все это случилось только потому, что он забыл про самое главное. Или должно было все быть по-другому, или ничего не быть. Острая жалость прилила ему к сердцу, когда он вспомнил себя прежнего, в начале жизни, с ясными требованиями и решительными поступками. Отчего он тогда не умер? И как могло случиться, что он переступил за этот первый, шаткий порог податливости и снисходительного отношения к

себе, к людям, к жизни? Вдруг Пестумского охватило такое искреннее отвращение ко всему его окружающему, что он со всей силой раздвинул ручки кресла и выскочил из него. С протяжным треском сломалась одна ручка, резьба осыпалась, и обломки бесшумно упали на мягкий пол. Какой-то резной кусочек, оставшийся на конце ручки, постоял несколько секунд, высунувшись вперед, и свалился вниз к остальным. Пестумский быстро, твердо ходил по комнате. «Она права, — говорил он себе, — я должен сегодня умереть. Бессмысленна вся моя жалкая, уютная жизнь, и ее надо прекратить, как только я осознал это». Он косо посмотрел на белую коробочку. Она молчала и ждала своего времени. Вольтер смеялся со стены.

Часы опять били. И вещи, накопленные не без труда, опять соблазняли Пестумского продолжать уютную жизнь с людьми, к которым он привык, в комнатах, которые он сам украсил, с мыслями, которые он давно знал. Понемногу соблазн стал одолевать, то одна, то другая любимая вещь попадалась на глаза, то одна, то другая любимая мысль приходила в голову, и вдруг Вольтер еще больше рассмеялся со стены, внушая Пестумскому последнюю решающую догадку: ведь она, его гостья, не умрет тоже. Зачем молодой и сильной убивать себя? Неужели детская выходка может пересилить громкий голос алой, живой крови? Она просто пошутила, ей хотелось как-нибудь особенно напомнить о себе. Пошло бы прислать поздравительное письмо, и вот она придумала всю эту шутку. А в коробочке, может быть, ничего и нет.

Пестумский робко придвинулся к столу, приподнялся на цыпочках за стулом и посмотрел. Тронуть он еще боялся. Но уже мог смотреть. Маленькое белое спокойно блестело под лампой на зеленом поле. С одного бока была разорванная красная печать. Увидев ее, Пестумский быстро отошел от стола. И вдруг ему стало страшно, одному, в этой комнате, со смертью на столе, с воспоминанием о странной гостье, с самим собой, потерявшим все равновесие и спокойствие, и, теряя способность сдерживаться дальше, он закричал коротким, острым криком, как будто невидимая

стрела ранила его смертельно. Но на крик никто не пришел: тяжелые портьеры и закрытые двери, вероятно, заглушили его. Тогда страх одиночества охватил Пестумского еще сильнее и, собирая остаток сил, он подошел к звонку и нажал его несколько раз порывисто и долго. На звонок, промедлив немного, вошла жена, почему-то бледная и расстроенная, с дрожащими руками. И как чужие, стали они друг перед другом, не зная, что сказать, что сделать, не умея больше взять друг друга за руку.

— Хочешь чаю? — спросила она сдавленным трепетным голосом.

— Да.

— Я слышала, как она ушла. Я думала, что ты работаешь...

— Да, да. Я работал. Ненужную тяжелую работу. Уведи меня от нее. Возьми.

И он придвинулся ближе. Но как неумелы, в сравнении с тихой лаской ушедшей, были ласки жены.

Какая она была смущенная, чужая!

Пестумский отстранился.

Она колебалась и, видимо, хотела что-то сказать.

Он посмотрел на нее и спросил:

— Да что с тобой?

— Ничего... Только тут, у нас на лестнице... случилось...

— Что?!

И, согнувшись, со впавшими вдруг глазами, Пестумский ждал ответа, как приговора над своей жизнью.

— Никто не видел, как она приходила?! — испуганно проговорила жена.

— Никто.

— Она упала на лестнице...

— Ну?

— И умерла.

Пестумский выпрямился и побледнел. Черты его похужденного лица расправились и стали строгими, как никогда. Жена договаривала:

— Подумали, что она приходила наверх... к студентам... Боже... Ты не беспокойся...

Пестумский, не слушая, быстрым, чужим взглядом окинул жену, стоявшую перед ним виновато, в простом платье, без прически, и сказал:

— Ты сделаешь чай? Я сейчас уйду.

— Приду, — поправила она... — Успокойся! Успокойся, милый! — И вышла сама, вдруг успокоившись, тихо, уверенная в счастливой и долгой их жизни так же крепко, как в наступающей ночи. Слышно было, как шаги ее проплыли в тишине, и потом звякнули где-то стаканы.

Быстрыми, кошачьими движениями подкрался Пестумский к письменному столу и цепко схватил длинными пальцами коробочку. Сел в кресло и открыл. На дне лежал блестящий, заманчивый шарик. Жалкая гримаса, как у ребенка, у которого отбирают игрушки, искривила его лицо, когда ясно очерченные губы скрыли за собой блестящий шарик. Он исполнил обещание.

Протяжно и торжественно стали бить часы над ним, отсчитывая двадцать седьмой и последний год его жизни.

ПОГИБШЕЕ СОГЛАСИЕ

Мы все жили вместе за городом, в одном доме, одним хозяйством, одними интересами и одним телом. У меня тогда была подружкой желтоглазая Кизи, маленький, робкий живчик, ласковый, как ручной голубь, и с чувствами вспльщившей сухой травы. Она не была красива, потому что я вкусил уже всех установленных красот и мог обращать свое сердце только к чему-то переходящему за пределы красивого. Я не хочу сказать, что меня увлекало безобразное — это было с одним из друзей — но все, в чем чувствовался канон, меня раздражало. Надо было знать лицо моей Кизи и мое и ее тело, чтобы уловить эту ступень обаяния. Вся белая и твердая, небольшого роста, с маленьким ртом, черты которого не могли стереть никакие поцелуи, с желтыми глазами, темневшими только от гнева и страсти, на голубых белках, с косою неровной и тяжелой душного темного цвета, она была как осколок мрамора, вышедший из рук несравненного мастера, и как певучая волна серебряного моря.

Мой близкий друг Филин, техник и строитель пока еще одной железной часовни на могиле фабриканта, а в будущем — невиданных дворцов труда и красоты, молчаливый и круглоглазый, всегда в лохматой куртке, считал подружкой Фую, толстую белокурую эстонку с розовой блестящей кожей и слащавым акцентом. Она любила вышивать крупным крестом свои скудные национальные узоры.

Самый младший из нас, которого мы не успели и назвать, робкий и немного вялый, был страстью Дряни, правившей всем нашим хозяйством. Она была старше всех — двадцати лет — и страшнее. Но больше всех холила себя и подводила левую, почему-то начинавшую вылезать бровь.

Я был гравер.

Всех нас соединила ты, несомая слепым всесильным вихрем в свисте дней и гуле дел, ты, непонятная, смешная и ужасная, ты, жизнь.

II

Кизи не было пятнадцати лет.

Она последней вступила в наше согласие. Я сам ее привел. Не привел, а принес, потому что это было так.

За домом лес; перед домом перелесок, сосновый и захоженный, где вырасти на земле ничего не может, со стволами, ободранными на высоту детского роста. За этим выгон, и понемногу слобода, за нею город.

От меня уезжала недолгая подруга. Ребенок, оставленный где-то, не отпустил ее сердца: она боролась с личным чувством, но нашей стать не могла и должна была уехать. Мне было жаль ее, такой несчастной, милой, нужной, но, может быть, так было лучше, потому что моя к ней любовь вырастала в давно забытое, жадное, единоличное и требующее только для себя чувство. Я возвращался с грустных проводов, когда уже темнело, и мой фонарь гнал перед собой длинные тени редких сосен.

Посередине леса я услышал шелест, хруст и легкое падение. Фонарь мне показал девочку с веревкой на шее, привязанной к отломившемуся суку. Она еще не задохлась и смотрела на меня испуганными желтыми глазами. Фонарь мне показал на ее платье и чулках темную, еще детскую кровь.

Я поднял ее и принес к нам, как новую свою подругу. Кизи было имя той, уехавшей, но, чтобы не менять часто имен, я оставил его девочке из леса.

III

Филин вырос у своего дяди-фабриканта. Был он ему сын или нет, мы этого не знали. Под предлогом занятий рисованием он должен был всегда быть в кабинете фабриканта. Тут, вероятно, его круглые глаза научились раскрываться так одиноко и безнадежно. Среди несгораемых ящиков и полок с пыльными коробками он метался, как в мыше-

ловке. И когда хотела, приходила охотиться на него жирная, красная кошка: фабрикант был женоненавистник. Это было год или два или три. Когда же рисование пошло дальше упрощенных гипсовых рук и лиц, фабрикант, поступившись женоненавистничеством, взял к себе натурщицу, и охотился, дразня ею мышонка. Это была Фуя, дочь управляющего одним из имений фабриканта. Дочь стояла дешево доходного места, и первое, что заметил мышонок на теле женщины, были синие полоски тонких прутьев, усовершенствовавших не губить карьеры старого отца. Но раньше, чем полоски пожелтели, охотник умер за охотой, и Фуе пришлось оттащить от трупа напуганного до слез мальчика и кричавшего короткими резкими криками. «Как филин», — подумала она, накидывая платье. Так и стала называть его Филином, а за нею мы.

IV

Я был гравером. Главный заработок давали мне издатели дешевых книжек духовного содержания. Я был специалист по ангелам. Особенно мне удавались пышные перистые крылья, так сильно действующие на воображение темного люда.

Однажды, удрученный большим и однообразным заказом, вырезывая чуть не двадцатую доску, я положил их все рядом и быстрыми ударами резца приделал всем ангелам то, чего они не могли не иметь по моему соображению. Все сотни тысяч книжек так и вышли с моим нововведением. Еще недавно захоластный книгоноша к моему удовольствию продал мне одну такую. Издателя послали по морошку, я отделался сравнительно легко.

Мне больно вспоминать о всех увлечениях последних двух лет. Я имел типографию, работал в крайней партии, и только чудом уцелел в дни реставрации: один из очень шумно разорвавшихся снарядов вышел из моей лаборатории. Лица и события промелькнули, как в кинематографе, и раньше, чем был дан отбой, я сознал всю горечь поражения. Моя

душа стала чашей, из которой все выпито. До последней капли и последней сухости. Чужой жар вобрал всю влагу. И когда стенки сосуда накалились, я стал пьянствовать. Тогда я работал сдельно на магазин медных досок, для жильцов квартир, любящих провозглашать на всю лестницу свои имена. О, как мне было весело вытравлять на металле какого-нибудь Жирикова, растопыривая жирное Ж во все стороны. И чем больше я злорадствовал, тем больше благодушия видел потом в глазах заказчика.

Но пьянство почти не заглушало моего несчастного сознания, все во мне накаливалось, и вероятно, так бы я и сгорел, если бы не встреча с Дрянью.

Я принес заказ, не помню кому, ошибся лестницей и вошел с черного хода. Девушка с бровью, почему-то вылезавшей, только что разбила соусник в цветочках с вонючей и жирной господской едой. «Дрянь, дрянь, дрянь», — кричал на нее взбешенный повар и чуть не плескал ей в лицо кипятком с длинной в дырках ложки.

Девушка так стояла, не выходя из дымящейся лужи, так дергала безбровым глазом, и в то же время такая была большая и сильная, что я сказал:

— Дрянь.

— Дрянь, дрянь, дрянь, — зазвонил повар.

— Пойдем со мною, Дрянь, — сказал я. И, так как рядом был кран, быстро налил ковш воды и вылил его на голову повару.

Вечером она уже сидела в моей каморке на своем узле и рассказывала, что она дочь барина, что все это знают, что ей надоело служить сестрам, что повар сам толкнул, и что у нее пятьсот рублей.

V

На эти деньги мы и устроили согласие.

С тех пор, как рушились надежды очеловечить одним ударом звероподобные массы городов и деревень, я потерял

вкус к жизни. Может быть, это прошла уже молодость, хотя мне было только девятнадцать лет. Я потерял способность наслаждаться едой, ходьбой, греблей, ездой, красивыми домами и прекрасными лицами. Как будто каждый приобретаемый мною плюс жизни уничтожался невидимым, но несомненно существующим минусом, и минусов при этом было невыразимо больше, чем можно приобрести плюсов за всю короткую человеческую жизнь, даже при погоне за ними.

Со всем другим, я потерял способность увлекаться женщиной.

Дрянь, думая мне быть женой, сначала очень удивилась и даже обиделась. Мне трудно было объяснить ей, что не из-за уродливости я ее отталкиваю. Именно это она думала и ополчила все уловки оболыщения и примитивного соблазна на меня. И так хотела мое маленькое любопытство принять за любовь.

Однажды мы лежали на постели, потому что постель была одна. Она перебирала мне пальцы своими неповоротливыми нежными обрубками. И я сказал:

— Когда мы будем в том доме, — он был уже снят, — нам будет удобнее спать.

Тут, кажется, она поняла.

И на другой день привела с собой мальчика — где она его взяла, не знаю — нежного, белокурого, при мне освободила его тело, как миндалину от шелухи, и была с ним вместе при мне. Но тут во мне заклокотало по-старому, я кинулся к ней, свалил ее на пол и, истязуя себя острой памятью прежних наслаждений, опять выпил это мгновенное божественное вино. Удивленная, усталая и радостная, Дрянь обнимала меня белыми руками, а нежный мальчик неутешно плакал на кровати и от того, что видел, и от того, что испытал впервые в жизни.

Так мы и поселились втроем, обреченные — тогда я этого еще не знал — на пытку. Дни и ночи слились в один длинный страстный путь. Я был так рад проснувшейся во мне возможности, и свято подстерегал в своей любви проблиски в прошлое. Мальчик привязался к Дряни, как к ма-

тери, и грудь свою она ему давала, как младенцу, а не любовнику. Я принимал его с какой-то странной нежностью, и часто мы припадали с ним к одной женщине и пили страсть, как два корня влагу из рыхлой и неистощимой земли. Но, сохраняя стыдливость, не исчерпывали всех возможностей, которые дает любовь втроем. И не хотели этого: сторонились порока. Так было вначале, но вскоре узел запутался. Она полюбила его больше, чем меня, и началась пытка. Небо только что стало раскрываться надо мной, и вот опять оно уплывало. Я требовал в отчаянии, она была кроткой и послушной, но не моей, не моей, не моей.

Я вынес свою страсть на улицу, я каждый вечер уходил в город, смотрел в глаза женщинам, брал их, и с ужасом утром видел дома недосягаемую для меня святость.

И вот однажды на перекрестке меня позвала женщина со слащавым акцентом. Беспомощность ее меня пленила. Она не могла почему-то пригласить меня к себе, и мы поехали к загородному вертепу, но на дороге она, прижавшись горестно, не вытерпела и рассказала все. Самое ужасное выходило из ее уст приторным.

Она девушка. Брат заголодал. Нельзя ли завезти ему денег. Они жили раньше у фабриканта. Что там было. Как он умер.

Это была Фуя. Брат — Филин.

В ту же ночь нас было уже пятеро. Я без труда настоял на том, чтобы тело у нас было общим. Но одиночества моего это не убило.

VI

Дом наш был скрипучий и серый, осевший на все бока и каждую ночь ронявший с глухим треском кусочки резных украшений снаружи. Главная комната, слишком низкая для своих размеров, имела три слезливые окна в пустырь. Тут посередине лежало все наше имущество. Деревянного, кажется, ничего не было. И посуды почти. Были занавеси

на окнах, матрацы и мягкое. Мягким назывались большие одеяла, юбки, пальто и куски тканей, рваных, но цветных — ах, это единственное было цветное в нашем быту, а так хотелось цветного, яркого, бархатного желтого или синего шелкового. Откуда взялись эти цветные куски — не знаю. Может быть, их купили на деньги Дряни. Но любили их все очень и брали поочередно.

Все-таки было достаточно уютно. Днем все, как чужие, работали по углам, поодиночке приходя к Дряни, гению нашего очага, заглушать голод. Мы стыдились есть. У нас не было сладострастия еды, этого открытого разврата, пустившего такие длинные корни в недра самых честных семей, если только семья может быть честной.

В сумерки уж кто-нибудь был на ложе треокой комнаты. Чаще всего нежный мальчик. Он был душой нашего десятирукого, пятиголового тела. Его глаза всегда улетали сквозь твою душу в даль, которая всех влечет мучительно и сладко, а его прямо поглощала. Дрянь была ему матерью, но вся ее жизнь свелась к одной мечте: стать ему женой так, чтобы он осознал это. Она приходила к нему и, жадная, творила любовь. Но слезы его, обычные у него в последующий миг умирения, пила не она, а Фуя, сестра ему и мать Филину. Ей Филин не хотел быть сыном и бунтовал, как птица в ветках, в спокойных берегах ее эпической, растительной природы. Она была тиха для него, и очень часто второе таинство свершали он и Дрянь, согревая друг друга избытками неудовлетворенной с милым страсти. Я в одиночестве смотрел в пустырь, поил уставших и учился знать, как человеческое связано с телесным. Дрянь подползала ко мне третьему, а Филин звал Фую. Тогда мальчик тосковал и пел свою странную песню:

Ау! Душа ушла.
И тело без души.
Качает бурю мгла
В своей тиши.

Ау! Душа летит,
Куда — не разглядишь.
Лишь ветер шелестит,
Качает тишь.

И плакал. Все отрывались от своего на время песни, и так сидели мы на куче мягкого с вытянутыми шеями и лещащими глазами на высоте подоконников, а сумерки текли, и капали черные капли вечерней тьмы.

Но после песни всегда становилось лучше. Отыскивалась возможность новых соединений, или пол утихал, и мы, сестра с сестрой, брат с братом, умирали в молчании, почти блаженном и освежающем душу, как ветер нашу тревожную комнату.

Огнем были свечи — на этом все настаивали, несмотря на скудость заработков. И ровный свет таинственных их языков, навеки определенных и не заключенных ни в какие видимые пределы, мирил нас еще больше с тесной человеческой судьбой.

Страсть вспыхивала радостно непрерывной цепью. Две женщины смеялись, как наяды. Цветные тряпки двигались, как волны между тел. Попавшийся под руку рукав пальто смешил, как странный, слишком плотный предмет из нижнего мира: на последних небесах бывали мы.

VII

Мальчик умер. Опустились углы губ у согласия. Фуя заплакала последний цвет из своих вялых глаз. Я сделал гроб. Три дня стоял наш мальчик. Те же свечи. Те же три окна. Страх.

Ау! Душа ушла.
И тело без души.

То есть мы без него.

Мы положили самую яркую из тряпок в этот гроб, и даже священник, пришедший, как ворон на падаль, не спросил: зачем.

Нас стало четверо и, истощив всю страсть, мы вяли, как листы на сорванной ветке. Пришла первая Кизи и ушла. Обожгла меня призраком любви двух. Хорошо, что ушла. Я принес вторую Кизи.

VIII

И тут события, вихрясь и спутываясь так странно, что не надо говорить о них, соединили нас с Тем, кого мы ждали всей смутой жалких наших душ и всем стремленьем искалеченного нашего тела.

Но умолчу о всем, что было вначале.

И о лице Его.

И о словах.

И о делах предыдущих.

Все это ведомо и позабыто, и слепцы не увидят все равно, если и показать.

Но заговорю о природе. Мы отреклись от нее, но Он вернул ее. Мы не видели, как за окнами комнаты таял снег, и черные трещины бороздили белизну. Как порыжело все и потемнело. Мы не слышали, как засвистели птицы.

Он распахнул нам очи, как очи комнаты, застоявшейся и нагретой нашим теплом.

Он отказался показать нам свое тело и на просьбу нашу показал в эти очи на пустырь:

— Вот мое тело.

Мы пригляделись молча и недоверчиво к весенней земле. Но разглядели что-то сразу. Будто свежим полотенцем вытерлись, и ужаснулись отпечатавшихся там ликов. И полилась нам в душу расцветающая благодать Его тела — вешней земли.

Мы растащили по комнатам свою кучу, платья, мягкое, и жили как аскеты. Мы постились. За постом начиналась

настоящая жизнь. Моя Кизи, привыкшая ко мне всем соком своего хрупкого тельца, как сосунок к матери, отошла и смотрела в Его лицо.

Но умолчу о лице Его.

Она первая назвала Его: Учитель.

Нам так хотелось бы слов и сказок, но молчалив был он и скромен. Ничем не вмешиваясь в нашу жизнь, ни одним намеком не задевая ее, Он одним своим присутствием всю ее переменял. Прошлое стало липким и темным, как гречишный мед. Ушли от него. И шли куда-то, совсем как ученики за своим немым Учителем.

Не отреклись мы от своего многоликого тела, но увидели всю неправду прежней ласки: ласки от отчаянья. И уж предчувствовали, какая будет новая — от веры.

IX

Стало лето. Еще город был мокрый и грязный, но прямо у нас за домом зеленели луга двойной зеленью: прошлогодней и вешней. Мы ходили на опушку слушать визг птиц и похожи были на стариков, чудесным образом поднятых с одра. Наши женщины потеряли бледность на щеках и синеву под глазами. Однажды побежали даже мы по рыхлой, влажной от недавних снегов земле, как дети, вспомнив, что нам всем вместе едва больше ста лет.

А он все знал это раньше и отвечал нашей внезапной радости из глубины своих глаз благодатным светом.

Но и о глазах Его умолчу.

Мы никли к нему, как тростник к воде. И вот уже стали и жить Им.

И мимолетная тень ушедшего нежного мальчика, улетающая душа наша, поблекла перед этим сильным духом.

Мы ждали только чуда, таинственного какого-то мига, чтобы все стало иным. Он тоже ждал. Он никогда не говорил нам о себе, но тело Его истончалось на глазах, и будто ожидая встречи с кем-то, Он томился неотданной страстью.

— Он ждет невесту, — сказала Кизи, почти ревнуя к ней кровью своих ран, уже затянувшихся под Его благодатью.

Он ждал ее. Он почувствовал ее приближение в солнечный день, в один из тех редких дней, когда свет не ярок, но светел особенными белыми лучами. Мы были около Него, я держал Его под руку. Его напряжение передавалось всем. Все больше устанавливалась связь между Его взглядом и тем местом горизонта, куда Он смотрел. Мы были накануне чуда. На самом последнем пороге...

И Он изнемог. Его человеческое воспротивилось и не вынесло возможности откровения. Он молил отклонить его. Мольбы таких состояний не могут не исполняться. Вернулось обычное сознание.

Прошло время, ничем не отмечаемое, кроме еще больших наших устремлений в Него. И вот однажды на дороге в лес, по которой только что прошла толпа, Он почувствовал опять тоску по тайном свидании с ней, которую Он сам отверг недавно. Всеми силами Он молил. Он требовал.

Мы ждали, уже ощущая трепет и замечая в природе то, что в обычное время проходит невидным. Я, как тогда, держал Его под руку. Я проникал в Его душу до последних глубин. И вот что в них было.

Он знал, что приближается.

И вдруг вспомнил прошлый миг и свое бессилие его принять.

И тогда с острой ясностью открылся единственный путь: человеческий язык называет его смертью.

Не колеблясь, он сказал свое «да» и, закинув блаженную голову, склонился на колени. Я первый заглянул в просветленное и бледное Его лицо и прочел в его страстном напряжении всю сладость первой встречи.

Кизи, обезумев от ревности, убежала в лес.

Х

Ночь пришла старая, такая, каких давно не было. Стащили матрацы, платье и мягкое в такую же кучу, на то же место. Таща, злорадствовали. Никто не признавался. Никто не жалел. Но все знали.

Я измучил Кизи. На лице девочки кожа повисла, как у старухи. Фуя похоронила свое материнство. Филин исцарапал Дряни успешную загореть шею и двуликую грудь. К полуночи синева залегла у него под глазами, и рот не закрывался. Он лежал между Дрянью и Фуей и хохотал:

Ау! Душа ушла.

Потом обе женщины стали спорить из за него. Тяжело дыша, потные, как две самки каменного века, склублились они на тихом всегда ложе нашем, и долго визг и хрип стоял в клубке. И смрадные, как наши души в этот час, слова.

А Филин оживил Кизи.

Но я отнял ее, снес в соседнюю комнату, положил на пол, поцеловал в последний раз, и лег на нее, и не встал, пока не посинела. Потом вернулся, потушил свечи, увидев впервые в жизни невыносимое...

Когда они распались, и тяжелый сон пришел на помощь мне, размягчая тела и угнетая души, я запер двери, плотнее закрыл окна, опять задернул занавески, и в темноте принес из кухни смерть в черно-красном облике головни.

И сел, и думал. И мелькало все недавнее мучительной, но крепкой цепью, а синий туманчик напознал, и стал уж храп лежавших тускнуть, и круги заходили у меня под глазами. «Так было в день сотворения мира», — подумал я. Филин вскочил, махнул руками и, прохрипев:

Ау! Душа ушла

упал ничком на голых. Нога одной вздрогнула и вытянулась. Бред не то звуковой, не то световой овладевал всем.

Зачем Ты ушел?

Последним усилием слабевшего мозга приняв вдруг новое, неожиданное и радостное решение, я выскочил в окно и побежал через поле к лесу, дико, злобно, а в голове стучало молотками, и черный лес неведомой стеной неслышно подплывал все ближе, и темнота небес синим бархатом гладила всклокоченные волосы.

СПЕЦИАЛИСТЫ

Чирок, встрепанный, долгоносый, чернизина на вид и ничего больше, угощает на своих владениях приятеля своего и товарища всякой снедью и зеленым зельем. Вечерет, ветер, изредка взлетит ворона, и опять все по-старому. Неумело шебуршит первый палый лист, да скрипят подгнившие, которым за двадцатый год.

— Сковырни-ка-сь медальку, — говорит хозяин.

— Есть!

И голова гостя закидывается, чтобы принять булькающую влагу в прямое горло.

— Колбасу нынче, видно, из псины месить стали.

— Не хай, хозяин, своего добра. Чем псина хуже свинины?

— Оно так-то так. Свинья еще и не в том копается.

— Магомет не ел и есть не велел.

— Ты, брат, про всякого зверя историю знаешь. Заедай псинкой или вот огурцом. Нечего пудриться, коли в гости пришел.

— Не рад, что ли? Я и уйти умею.

— Какое не рад! Одурел от соседства.

— Работы много?

— Да не так, чтобы. Старики беспокоят.

— Вот в чем минус! А ты плюнь! все тлен и прах, и никакого беспокойства тебе, живому человеку, от них быть не может.

— Я и оплевался, и очурался. А толку и с ноготь нет. Которые, слышь, по тридцатому году, и те шевельню заводят. Сковырви-ка-сь медальку, я те скажу!

Хозяин плотнее уселся на своем бугре и, приняв от гостя свежевскупоренную правой рукой, растопырил пальцы на левой в знак начала рассказа.

— Сидор Иванович Нечмокин, из потомственных, «спи, ангел мой, до милого рассвета», — это у меня первый номер насчет дебоша. Давний, еще при отце Федосье от почки успокоился, да все спокойя настоящего обрести не может. Запахнется это халатиком, выйдет и гуляет, как после обеда.

Я ему: «Вы бы, Сидор Иванович, полежали немножко».

А он только рукой махнет, а на рукаве дырка.

- Что ж, ты его так прямо и видишь?
- Так прямо и вижу.
- Да, может, это не он?
- Не он? Так и ты, может, не ты?
- Я живой, а он...
- Ты моих не трожь, у меня все живые! слушай-ка дальше, рот раскроешь.
- На колбасу.
- И после этого я ему опять говорю: «Вы бы, Сидор Иванович, про то вспомнили, что супруга ваша рядом почивает. Вместе б отдохнули.
- Известно, в панихиде сказано: вместе спокойней.
- А ты не подмазывай мне колеса, и сам докачу. И на это он мне ничего не отвечает, только рукой махнет, а на рукаве дырка.
- Ты б заштопал?
- Не ермолайничай, пожалуйста, и досказать дай!
- А ты про одно и то ж сто раз не кудахтай.
- И после этого я ему уж ничего говорить не хочу, а вытасу ладонцу и подкурю немножко. Только на него мало это действует, ходит себе, нюхает, иной раз даже язык покажет.
- Какое ж обличие у него?
- Ничего, приличное: где кость, а где и кожа. Волоса тоже, которые не вылезли, и после этого меня уж нетерпеж берет; как сорву хворостину, как побегу, как засвищу, тут Сидор Иванович мой и замается; скорей, скорей назад. Только ему-то хорошо — свой человек, а меня за ноги хватают. Жалко мне его станет, и говорю опять: «Чего ж вам ходить, Сидор Иваныч? Бросили бы вы это дело, я вам надпись подновлю». А он ничего не скажет, только жалко-жалко посмотрит, и махнет рукой...
- А на рукаве дырка?
- Смешной ты какой-то! Только б тебе крышки приколачивать да глумом заниматься, а нет того, чтоб на вольном воздухе посидеть с хорошим человеком и о чудесах побеседовать.

— Чудеса твои, приятель, не настоящие. Там вот, бесноватые, от мощей тоже, это все я, хоть ученый человек, а понимаю. А ты про Сидора Иваныча. Может, он жулик просто, а не Сидор Иваныч. Негде ему заночевать, вот и гуляет по твоему царству.

— И что ты выкидываешь! Какая же это днем ночевка?

— Так он и днем ходит?

— Днем ему самый ход. Или вот так, под вечерок.

— И сейчас ходит?

— Ходит.

Прияттели затихают и оглядываются по сторонам. Гость несколько испуганно, а хозяин с хозяйским видом, как пастиух, когда выглядывает корову за кустами.

— Вон халатик-то, вон он! Пестренький, старинного рисунка.

— Уж ты и рисунок разглядел!

— Теперь за дерево зашел. Ты не бойся, он, Сидор Иваныч, хороший. Нечмокин ему фамилия. Да перестань дрожать! Сковырни-ка-сь медальку, для храбрости. А я еще что скажу.

— Давай про другое разговаривать.

— Ну, говори про другое.

— Вот я намедни купчиху заколачивал. Сам колочу, а сам думаю: лопнет она сейчас, всего обрызгает, и крышку не удержу. До того толстая!

— Это ничего, потом обсохнет. Мощой будет.

— Ври больше! В неделю объедят и сами подохнут. Парча не успеет заржаветь.

— Непонимающий ты нигилис, скажу я тебе. Подвинь-ка ухо. У меня все мощи!

— Так и поверил.

— Да мне твоей веры не надо, я сам и знаю. Сказано: «Им же честь и слава и помин вовеки». Протрубит в трубу, и выйдут все, как надобно, в своем виде. У меня, брат, стро-го. Лежать — лежи, а гнить ни-ни! Ну, там переносица, или палец какой, а чтобы целость нарушить — не бывает.

— Ты им проверку уж не делаешь ли?

— Я чужое добро берегу. А захочу, и проверить могу. Вот, ты думаешь, на чем сижу? Отроковица Агния. А ты либо на Свищухинской тетке, либо на Митьке Подзатыльниковом. Не помню, как поставил. Агния-то в газетовом — ты сам обивал. Вот!

Чирок схватил палку, воткнул ее глубоко в бугор и постукал там обо что-то.

— Слышишь? Она.

Гость вскочил с густой травы, в которой сидел.

— Будет тебе фокусы показывать. Ерунда все это.

— Ерунда?

Хозяин шагнул к нему ближе, свирепо смотря в глаза. Трудно им стоять друг против друга, наваливаются, где рукой обхватились, где плечом подперлись.

— Вот закопаю тебя, тогда увидишь, какая ерунда.

— Даст Бог, собственноручно тебя заколочу, и после тебя еще всяких.

— Ишь, о чем размышлялся, гробовая крыса!

— И могильщику жить охота, вот новости! Да моя работа крепкая, уж я тебя замакедоню.

— Закопаю тебя — нельзя лучше. Сорок дней выцарапываться будешь!

Но вдруг руки Чирка слабеют, и он, обняв гостя, с плачем повисает у него на шее.

— Вот и охайлись, грех непробудный! А ты в душу мою заверни. Только о том и думаю, когда встанут. Маялись, маялись, полегли, и конец тут? Не бывать никогда такому! Через день да на третий все несут новеньких, сам знаешь, и старых, и малых. Иная невестой укукошилась. Другой поцеловаться на роду не поспел, как следует. А которые детьми сподобились? И все это для червя? Не человек ты, коли так думаешь. С первой трубой все подыметя. Я каждую зорю смотрю на восток, не видать ли хоть кончика крылышка. Как увижу, сейчас дам своим знак, первыми выйдем. А на этом месте сад-цветник разведем, любо-дорого смотреть будет, и всякому входить можно. Какие тут встречи произойдут, подумай только, Фома ты слепой! Какие радости! Отца, мать, дедов, прадедов, до самого Адама все свое колено увидишь!

— Тут и повернуться негде будет.

— А тебе б все вертеться да обмериваться? Там не заказ получать будешь, тесный ты человек! Да зачем и поворачиваться? Смотри прямо перед собой, все с самого начала начнется. Ты бесчувственный, у тебя аршин всегда из кармана торчит. А Сидор Иваныч меня понимает и всякий понимает, у кого за ребром не камень положен. Сидор Иваныч, пойдя, я тебе рассказывать буду!

— Чур тебя, Чирок! Уйду, тогда называй себе выходцев. Так ты с ним еще и разговариваешь?

— Говорю-то я, а он слушает, за березкой где-нибудь. Особенно любит, как овцы пойдут направо. Я ему еще тут передельваю; про козлов забываю, говорю, что все пойдут направо. Жил он, как всякий потомственный; пьяница, должно быть, был, вот и мутит его сомнение. А я ему рассказываю, как пойдут все направо, руно на них белое, светлей его ничему не быть. Я мальчонкой пас овец, так все это знаю. Гонишь их под вечер через гору, и белеют они на заре, как на вратах царствия небесного. Я и тогда обо всем догадывался. А теперь насквозь вижу. Он это стоит за березкой, полой утирается, и я сам до слез ему рассказываю. И какая труба у ангела с ободком узорным, и как весь мусор земля съест и травой, что ковром, покроется, и какие весы высокие, где дела наши взвешаются. Ну про весы я ему тоже мало говорю. И про перья на крыльях, и про свет на лицах, и про все, про все, вот как тебе, непонимающему.

— Хороший ты, Чирок, только смешно мне до колики. Ты, как полководец над своим войском, вздыбился. А войско твое червь сел. Настругать тебе разве палок, да натыкать на них черепов, вот и все твое войско. Сползи с меня, пожалуйста. Ты мне весь борт обслонявил.

— Вот ты что. О борте заботишься.

И Чирок, качаясь, разнимается с приятелем. Ему тошно от водки, еды и разговоров и хочется размахнуться да садануть. На глаза попадает последняя из целых бутылок. Косясь на гостя, будто нехотя, он нагибается, берет ее за горлышко и, размахнувшись снизу, бьет его по щеке.

— Сквырни-ка-сь медальку!

Потом внимательно смотрит, как текут кровь и водка по щеке огорченного гостя, еще не понимающего, что случилось.

Раньше, чем он сожмет кулаки, Чирок приседает на корточки — чернизина на вид, и ничего больше — и с улыбкой манит кого-то пальцем из глубины дорожки.

Гость смотрит в глубину дорожки в страхе и горе.

Там мелькает что-то, не то бежит, не то на одном месте прыгает. Гостю страшно. Он озирается, и вдруг, закрестившись мелким крестом по мокрому от всех угощений Чирка пиджаку, бежит в противоположную сторону, крича вместо обычного полубаска жестоким тенором:

— Чур меня, чур!

Чирок свистит ему вслед в два пальца и, когда он скрывается, трусливо начинает смотреть туда, где мелькало.

Но не оттуда, а из боковой тропки выбегает мальчишка с глазетовым поясом, запыхавшись и без шапки.

— Где господин гробовщик? По всему городу ищут. Спешный заказ.

— Кто?

— Тюрина племянник.

— Который?

— Брюнетный.

— Когда?

— В полдень.

— Какой?

— Дубовый, с выпушкой, на винтах.

— Чудны дела Твои, право! Беги скорей вон туда, видишь, кровью накапано. Где-нибудь нагонишь. Да скажи, чтоб поаккуратней в углах, а то рыть широко надо, и застревает при спуске. Живо!

Прогнав мальчишку, Чирок связывает в платок бутылки, вилку, тарелку, засовывает остаток колбасы в рот, а хлеб кидает воронью и с нахмуренным, соображающим видом пробирается, покачиваясь, по знакомым до надоедливости бутрам и тропкам. Вечереет сильнее, ветер стих, воронье дерется из-за хлеба, неумело летит с дерева раздумавший вить до завтра желтый лист.

СТРАШНАЯ УСАДЬБА

Илл. В. Сварога



1

Мне уже более двадцати лет, у меня белокурые косы и очень большие серые глаза; все, что я умею, это выразительно читать, почти не уставая. Профессию лектриссы я избрала тотчас по окончании гимназии, и вплоть до прошлого года ничего особенного со мною не случилось. Эту зиму я провела в санатории. Я думаю, всякий на моем месте был бы принужден избрать именно такое местопребывание, если б пережил то, что пережила я. Теперь я уже достаточно оправилась от нервного потрясения, и воспоминания начинают даже доставлять мне некоторое удовольствие, тем более что доктора положительно мне запрещают возвращаться мыслями к событиям, которые послужили причиной моей болезни.

Как теперь помню ясный осенний день, когда я приехала в Варшаву, бросив хорошее место в богатом имении из-за несносных приставаний ясновельможного пана, которому было уже за шестьдесят. Мой отъезд вышел довольно бурным, мне даже не заплатили за последний месяц. Необходимость немедленно найти новое место ощущалась очень остро, потому что на свете я одна, и деваться мне было положительно некуда. Я дала несколько публикаций, обошла, кого застала в городе, из знакомых и уже начала отчаиваться. Денег оставалось очень мало. Голода я не выношу совершенно, и если утром не съем пирожного,

то начинаю немедленно проникаться психологией самоубийцы.

От тоски я ходила гулять на кладбища. Есть неизъяснимое очарование в этих жилищах мертвых, особенно осенью. Золотые листья на деревьях, в воздухе и под ногами, строгое голубое небо и печальные памятники нравились мне необычайно. Я ходила от могилы к могиле, читала надписи на мраморе и лентах. Однажды мое внимание привлек фамильный склеп Ясницких. Огромный белый ангел со стиснутыми в отчаянии и мольбе руками стоял над этой могилой. Я не раз видела приоткрытым вход в сам склеп, и жуткое чувство охватывало меня при мысли, что кто-нибудь навещает эту усыпальницу.

И, действительно, я вскоре увидела у этого памятника высокую женщину в трауре. Она сначала молилась, потом сошла в склеп и пробыла там довольно долго. Я сидела на мраморной скамейке невдалеке и думала о жизни и смерти.

Женщина в трауре заметила меня и подошла. Мы разговорились. Под густой черной вуалью я разглядела лицо, уже немолодое, но с явными еще чертами красоты, с воспаленными от слез, безумными глазами и выражением решимости в тонких линиях рта и подбородка.

Узнав, что у меня никого не умерло, женщина удивилась. Когда же я ей сказала про свое печальное положение, она тотчас же предложила мне место лектриссы у себя самой. Мы назвали друг другу свои фамилии. Ее звали пани Ясницкой. На следующий же день пани Ясницкая должна была сама зайти ко мне для окончательных переговоров. Она именно сама хотела прийти ко мне, уверяя, что ее номер завален покупками и что ей неудобно принять меня в нем. Она показала мне интересной и умной, кроме того, мне ничего не оставалось делать, как согласиться на ее предложение.

Пани Ясницкая пришла ко мне на другой день, вечером. Не снимая шляпы и вуали, она сразу приступила к разговору. Меня тогда же удивило, что она больше старалась узнать о моих верованиях и взглядах на загробную жизнь, чем об условиях, на которые я согласна. Впрочем, когда я, улу-

чив минуту, сказала ей о них, она приняла их тотчас и просила только быть готовой к отъезду во всякое время.

После этого наша беседа продолжалась еще более часа. Было похоже на то, что пани Ясницкая долго не имела никаких собеседников и торопилась высказаться. Ее более всего интересовали вопросы загробного существования. Она оказалась очень начитанной в теософии, в оккультных науках. В то же время ей очень нравился христианский миф о сотворении первого человека из глины, и она рассказала мне несколько увлекательных его вариантов. Я с некоторым недоумением слушала ее и думала, что моя должность лектриссы будет, вероятно, больше похожа на положение наперсницы, обязанной сочувственно выслушивать все, что говорит госпожа. Но и эта роль меня не пугала, потому что я от природы любопытна.

Уж не помню, как я перебилась два-три дня, прошедших до нашего отъезда. Поздно вечером за мной приехал мотор. Пани Ясницкая была очень довольна и говорила, что из-за границы ей выслали все, чего она в Варшаве дождалась, а остальное вышлют в имение. Я не смела спрашивать, что же именно такое это «все» и «остальное», хотя была заинтересована очень.

2

На вокзале я видела, как слуга гостиницы, где жила пани Ясницкая, сдавал в багаж три странных, продолговатых, тщательно упакованных и похожих на гробы ящика.

На рассвете мы были уже в имении пани Ясницкой. Я знаю хорошо запущенные усадьбы нашего края, но ничего подобного усадьбе пани Ясницкой я представить себе не могла.

Огромный дом с двенадцатью колоннами видел еще Наполеона в своих залах, как я потом узнала. Значительная его часть была заколочена. Строго говоря, жилым оставался только мезонин да одна комната внизу, столовая. Ста-

рый парк окружал этот дом. Он пришел совершенно в дикое состояние, никто о нем не заботился, дорожки заросли, и неожиданно, совсем в глуши, можно было встретить мраморную колонну или статую. Круглый, прекрасной формы пруд зацвел. Все дремало здесь таким непробудным сном, что я почувствовала себя, как в заколдованном царстве.

Слуг в доме было очень мало, они появлялись и исчезали незаметно.

Мне отвели комнату в мезонине, окном в парк. В первый же вечер меня до смерти напугала своим криком сова, облюбовавшая себе ветку совсем вблизи от меня.

Дни потекли очень однообразно.

По условию, я должна была читать два раза, утром, от одиннадцати до двенадцати, польских классиков, и вечером, от семи до девяти — французских. Но утренний час пани Ясницкая обыкновенно просыпала, а вечерние сокращались то из-за обеда, то из-за ужина. Делать мне было почти нечего. Я скоро привыкла ко всем странностям моей пани. Она тоже перестала на меня смотреть, как на чужую.

Однажды она повела меня показывать зал, где висели портреты ее семьи и рода. Предки мало меня заинтересовали. Но когда я увидела черноусого старика, ее мужа, молодого гусара с неестественно блестящими глазами, ее сына, и томную красавицу в кружевах, его жену, я поняла многое в темной душе пани Ясницкой. Она мне рассказала очень мало про всех них. Сказала только, что муж убит на войне, а сын и его жена утонули в океане.

В этот же день она мне показала две чудесной работы акварели на фарфоре, изображающие двух девочек пленительной миловидности. Это были младшие ее дочери. Она мне ничего не сказала про них, но по траурным рамкам, окружавшим акварели, и по ее глазам я поняла, что и они не в живых. По-видимому, все эти несчастья обрушились на пани Ясницкую в короткое время.

После этого дня я стала относиться к ней с особенным вниманием и теплотой.

Ужинали мы вместе, внизу, в столовой. Подавал полу-глухой старик в нитяных перчатках.

Зная, что пани любит предаваться размышлениям и воспоминаниям в той же столовой, где, конечно, часто проводила она время со своей семьей, я не мешала ей и уходила к себе. Не знаю, что бы я делала без огромной библиотеки, предоставленной в мое распоряжение. Библиотека помещалась внизу, невдалеке от столовой, и часто, уйдя к себе, я потом опять спускалась вниз переменить книгу.

Один раз — это случилось довольно поздно, часов около двенадцати, пройдя мимо столовой, я увидела в щели свет. Удивившись, что пани сидит так поздно, я через минуту пришла в столбняк: сквозь закрытые двери мне ясно послышались голоса. Я наверно знала, что разговаривать пани не с кем. Слышался ее голос, и еще какие то, похожие на ее. Потом непонятный визг, похожий на детский.

Я в ужасе убежала наверх, не заходя в библиотеку. В скором времени я расслышала шаги пани, возвращавшейся к себе.

Меня серьезно напугала эта история. Со следующего дня я стала более зорко присматриваться ко всему. Я заметила, что посуды ставится на стол гораздо больше, чем для двоих. Я заметила скрытую обоями дверь в столовой. Особенно меня заинтриговала эта дверь.

Задержавшись после завтрака в столовой, я решила ее открыть.

Это не было трудно.

Гораздо труднее было ее закрыть, потому что у меня от страха одеревенели пальцы. Ничего особенного я не увидела. За дверкой я увидела обширный шкаф. В нем стояли те три похожих на гробы ящика, которые меня напугали еще в Варшаве. Крышки их были приоткрыты, но мной овладел такой страх, что я ничего не могла разглядеть и отлетела от этой двери, как стрела с тетивы, к противоположной стене. Там я упала в кресло.

Вошел старик-слуга и, подозрительно поглядев на меня, плотно захлопнул дверь шкафа.

Мое спокойствие было потеряно.

Казалось мне, что и пани чем-то взволнована. Последние дни она чаще обычного посылала на почту и ждала че-



го-то. Акварельных портретов своих дочерей она прямо не выпускала из рук. Достала несколько альбомов с фотографиями и, вместо чтения, мы проводили время в разглядывании этих карточек. Отрывистые восклицания, невольно вырывавшиеся из уст пани, ничего мне не говорили о судьбе всех этих людей, но я очень хорошо изучила лица всех покойных Ясницких, вполне отчетливо представляла себе их рост, походку и фигуры. Не скрою, что мне особенно приятно было думать о сыне пани. При романтической моей мечтательности мне было сладостно думать, что этот красавец умер и что я никогда его не увижу, хотя, может быть, уже люблю.

В ветреные дни я всегда чувствовала тревогу в этой усадьбе. Скрип старых дубов, безнадежное качанье заметно оголившихся верхушек деревьев, целые вихри рыжей, красной и желтой листвы действовали на меня подавляюще.

И в то же время, я не могла оторваться от природы, уйти в свою комнату и забыться. Меня тянуло в парк, к пруду. Мучительны и приятны были мне такие дни, и особенная прелесть была для меня в том, что я одинока, что никогда ни души не встречу в парке.

Пани обыкновенно сидела в своей комнате в такие дни.

Тем более странно было мне встретить ее однажды в парке, на довольно глухой аллее. Как обычно, она вся была закутана в черное, и мне понравилась ее фигура на фоне осеннего пейзажа.

Мы пошли рядом.

Листья шуршали и хрустели под ногами. Мне, в моих тонких туфлях, было немного больно ступать на крупные желуди, сыпавшиеся с дубов.

— Я знаю, вы любите этот парк, — сказала пани.

— Да, — ответила я.

Я привыкла отвечать ей односложно.

— Мне мучительно в нем бывать, — продолжала пани. — Воспоминания связаны с каждым деревом, и тщетно я желаю, чтоб парк совсем зарос, обратился в дебри, в которых бы все спуталось и забылось. Деревья растут, но воспоминания тоже.

Она подняла желудь, задумчиво поглядела на него и опять заговорила:

— Вот и на желудь не могу смотреть. А их каждый год все больше и больше...

Я молчала. Я иногда любила ее слушать.

Она вдруг остановилась и с трудом выговорила:

— Сегодня именины одной из моих девочек. И вот помню день. Лет пять ей было. Такой же день был. Она играла желудями. Поднимала их. Давала мне.

Ее голос надрывался. Я в первый раз увидела слезы на ее глазах. Это с ее стороны было знаком большого доверия и дружбы, что она плакала при мне.

Я прикоснулась к ее руке.

— Я, кажется, плачу? — спросила она.

Я погладила ее тонкие выхолненные пальцы.

— Но сегодня у меня есть некоторое утешение, — сказала она.

Ее лицо преобразилось. Я прислушалась внимательней к ее словам.

— Я надеюсь получить сегодня то, чего давно ждала, чего мне не хватало.

Она высоко подняла голову. Опять, как при первой встрече, меня поразило выражение решимости в губах и подбородке.

— У меня есть еще надежда, — прошептала она.

Она была, как в экстазе. Я где-то видела гравюру, изображающую Екатерину Сиенскую в минуту молитвенного экстаза. Пани Ясницкая показалась мне теперь похожей на эту святую. Такими, должно быть, бывают лица у творящих чудеса.

Не нарушая молчания, мы долго потом гуляли по старому парку. Ветер несколько утихнул, листья шелестели жалобней и примиренней.

Мало-помалу у нас завязался разговор о теософии и магии, о тайных науках. Пани называла имя какого-то средневекового мудреца, который будто бы умел отделять от тела душу и вселять ее, куда угодно.

— Я не верю, — сказала я, как думала, — что душа делима от тела, это одно целое, неразлучное.

— Значит, мумии живут, а погребенные в землю умирают? — с неожиданной насмешливостью спросила меня пани.

Я ничего не могла ей ответить, потому что, по правде сказать, меня мало интересовали эти вопросы.

— Вы забываете, — сказала пани наставительно, — что тело человека было сотворено, а душа в него вдунута. И только потому, что тело было сотворено художественно, ду-

ша осталась в нем жить. И как только от болезни или старости это тело, это художественное произведение, начинает портиться, душа его покидает. Вы не думали об этом?

— Нет, — сказала я. Про себя я думала: «А твои дети? Разве они не были прекрасны? И разве они не умерли?»

Странной показалась мне эта теория. А пани еще спросила меня:

— Думаете ли вы, что искусство, с древнейших времен до нашего, непрерывно улучшалось, все усовершенствовалось?

— Конечно, — ответила я.

— Вы еще не знаете, как оно всеильно, — загадочно сказала пани.

Глаза ее горели. Она похожа была на сумасшедшую.

Когда мы вернулись домой, оказалось, что с почты привезли два ящика. Это были два небольших, похожих на два детских гроба, ящика.

Меня передернуло, когда я увидела их. Пани бросилась к ним почти в истерической радости. По испуганным ее глазам я поняла, что единственное, чего она в эту минуту хочет, это остаться одной с своими тайнами.

Любопытство мучило меня, но я не стала ей мешать и ушла к себе.

Кроме того, все впечатления этого дня были так сбивчивы и странны, что моя восприимчивая натура не выдержала, и я должна была прибегнуть к испытанному еще с детства средству.

Уткнувшись головой в подушки, я всласть, бессмысленно и долго, не вытирая слез, стала плакать.

4

Когда я проснулась, было за полночь. Подняв голову с подушки, мокрой от слез, я почувствовала, что сон освежил меня и успокоил. Я зажгла свечи, открыла окно, и тотчас увидела полосы света, падавшие в парк, от освещенных яр-

ко окон столовой. Так много свечей еще никогда не зажигалось в старинных канделябрах за все мое пребывание здесь.

Не скажу, чтобы мне хотелось читать. Мне хотелось, если говорить правду, сойти вниз, будто бы в библиотеку, а на самом деле, в надежде что-нибудь увидеть и услышать.

Свое желание я тотчас привела в исполнение.

Уже спускаясь с лестницы, я слышала громкие голоса в столовой. Опять все они были очень однообразны, как будто один человек говорил за нескольких, меняя голос. И этот голос был, несомненно, голосом самой пани Ясницкой.

Я осторожно, стараясь не шуметь, спустилась с лестницы. Дверь в столовую была плотно закрыта и завешена с внутренней стороны тяжелой бархатной портьерой. В щель ничего не было видно.

Голоса раздавались все громче. Я разбирала отдельные слова.

— Ян, родной мой, не хочешь ли еще чаю? — слышался голос пани.

И странный голос по-польски отвечал:

— Нет, благодарю вас. Вы знаете, я всегда один стакан пью.

От этих простых слов я пришла в неопишуемый ужас. Я знала, что Яном звали сына пани, красавца, который мне нравился. Но любопытство пересилило страх. Я решила во что бы то ни стало увидеть все, что происходит в столовой. Из парка нельзя было увидеть, потому что деревья вблизи не было, а окна были высоко, и стена без выступов. Я хладнокровно рассуждала так, но казалось мне в те минуты, что я седею от ужаса. Вдруг я снова расслышала голос пани:

— Крошка моя, цветик мой, наконец-то ты вернулась!

После этого ясно были слышны всхлипыванья и поцелуи.

Я выдернула шпильку из своих волос. Я люблю длинные толстые шпильки. Тихо просунула ее в замочную скважину, и, зацепив портьеру, заслонявшую отверстие, с сча-

стливой ловкостью оттянула ее в сторону. Загнув шпильку, я могла теперь видеть.

Я прильнула к скважине правым глазом, который всегда у меня был более зорким.

Первое, что я увидела, было лицо девочки ослепительной миловидности. В то же мгновение я заметила целое общество за столом: старика с черными усами, блестящего гусара, белокурую красавицу в том же платье, что на портрете, и еще и девочку с дивными, как у куклы, локонами, сидевшую ко мне спиной.

Это было одно мгновение, это было короче мгновения. Молнией пронеслась в моей голове мысль:

— Мертвые!

И я без памяти упала па пол.

Доктора мне потом говорили, что в этот миг и началось мое душевное расстройство.

Я не помню, сколько времени я лежала на полу, перед дверью.

Очнулась я от сильных криков за дверью. Кричала пани, повторял почти одно слово:

— Живи! Живи! Живи!

Я ощущала страшную боль в голове, но, пересиливая ее, поднялась и прильнула к замочной скважине.

Все сидели, как прежде, в тех же позах, с остановившимися глазами.

Пани, с поднятыми руками, бегала вокруг стола и, останавливаясь, кричала то же слово:

— Живи! Живи!

Она прибавляла еще что-то, не по-польски и не по-русски. Свет в столовой был другой: только три огромных красных свечи стояли на столе. Серебряная чаша была до краев налита водой.

Не помня себя, я смотрела.

Вдруг пани схватила одну из девочек и прижала к груди своей, целуя иступленно и крича все громче то же слово.

У девочки беспомощно свисали ручки.

Пани кричала уже в истерике, она топала ногами и скре-



жетала зубами.

На лице ее невозможно было задержать взгляда. Полу-седые волосы ее растрепались. Напряжение ее достигало крайних пределов.

Вдруг она дико захохотала и, бросив девочку, в судорогах упала на пол.

Не теряя ни секунды, я распахнула дверь и вбежала в столовую.

Прежде всего я бросилась к Яну, сыну пани, моему Яну, которого я любила.

Отвратительной мертвой улыбкой были приподняты его красивые, ярко-красные губы. Прекрасная рука лежала на столе.

Я взяла ее и выпустила: она была ни теплая, ни холодная, ни твердая, ни мягкая. Я оглянула всех: это были восковые куклы. Я еще нашла в себе силу наклониться к тонкой золоченой пластинке, прикрепленной к воротничку гусарского мундира. На ней были выдавлены слова: «Paris. Premiere qualite».

Как на крыльях вылетела я из столовой, взбежала наверх, схватила кошелек и накидку и помчалась через парк на дорогу, быстрее, чем если б за мной гнались все сидевшие в столовой.

Начинало смутно светать.

До станции было двенадцать верст.

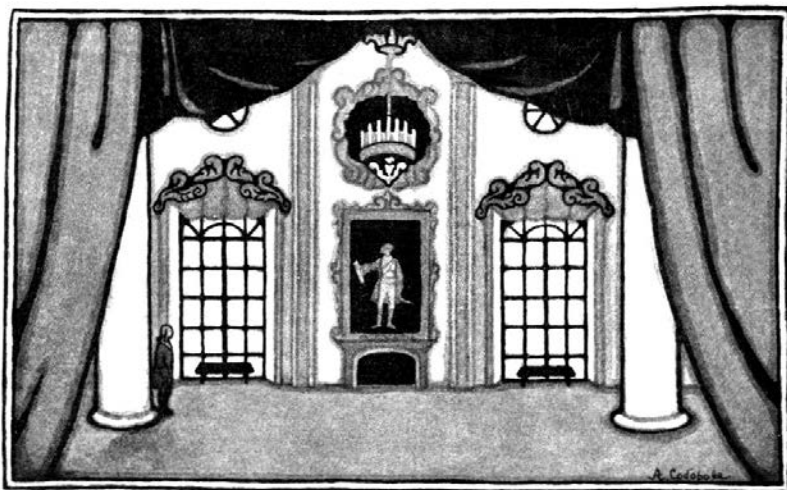
Я не помню, как я прошла их, как садилась в поезд. Очнулась я в больнице, в незнакомом городе. Доброта врачей дала мне возможность провести в ней время почти до полного выздоровления, а потом даже отдохнуть в санатории.

Только теперь, когда я начинаю возвращаться к жизни, я поняла все безумие мечты, овладевшей панн Ясницкой. Ведь она хотела воскресить этих кукол, вдунуть в них жизнь! Она говорила с ними, сама отвечала за них.

Я ничего не знаю и не хочу знать про нее, но думаю, что навсегда я сохраню способность проникаться беспредельным ужасом при каждом воспоминании о ней.

БРИЛЛИАНТ

Илл. А. Соборовой



I

Княгиня Агриппина Юрьевна Седых-Лютая уже много лет лежала без движения в своем великолепном особняке на набережной. Построенный ее предками со всей красотой екатерининского искусства, он уже давно утратил свою яркость. Закрашенная в серо-зеленый цвета, колоннада его казалась покрытой вековой пылью, лепные украшения под толстыми слоями краски потеряли форму, дремучим сном дремал дворец и даже перестал видеть сны о прежней своей блестящей жизни.

Такой же тяжелой дремой овевано было все внутри него. Целые анфилады комнат оставались навсегда закрытыми. Огромные окна старинного стекла потускнели. Снаружи похожие на мертвые глаза, изнутри они напоминали частую паутину, протянутую в рамах. Никогда их не открывали, и только, когда от времени выпадало какое-нибудь стекло и разбивалось с жалобным звоном, его заменяли новым, казавшимся заплатой.

Мебель ветшала на своих местах, установленных от века. Позолота на ней серела, шелка теряли краски. Иногда

отваливалась какая-нибудь розетка, делая переполох в ненарушимой тишине дворца. Тогда подбегал старый лакей и, осторожно подняв отвалившийся кусочек, клал его в ящик столика, выдвигавшийся еще безопасно, или в вазу. Ничто не должно было здесь пропадать. Зеленые зеркала отражали пугливую фигуру лакея, и опять все погружалось в сон.

Комната, в которой лежала княгиня Лютая, находилась рядом с огромным залом. Этот зал был увешан портретами. Острая, насмешливая улыбка отличала издавна черты князей Лютых. И было жутко в зале от этой родовой насмешки, которая перелетала с уст прапрадеда к прадеду, от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну. Портрет сына, последнего отпрыска князей Лютых, был еще совсем свеж: он был сделан перед его отъездом на войну, наспех, дешевым художником. Но и от заурядного глаза не ускользнула родовая усмешка: князь Ипполит Матвеевич Седых-Лютой, красавец с голым черепом, улыбался так же, как его предки.

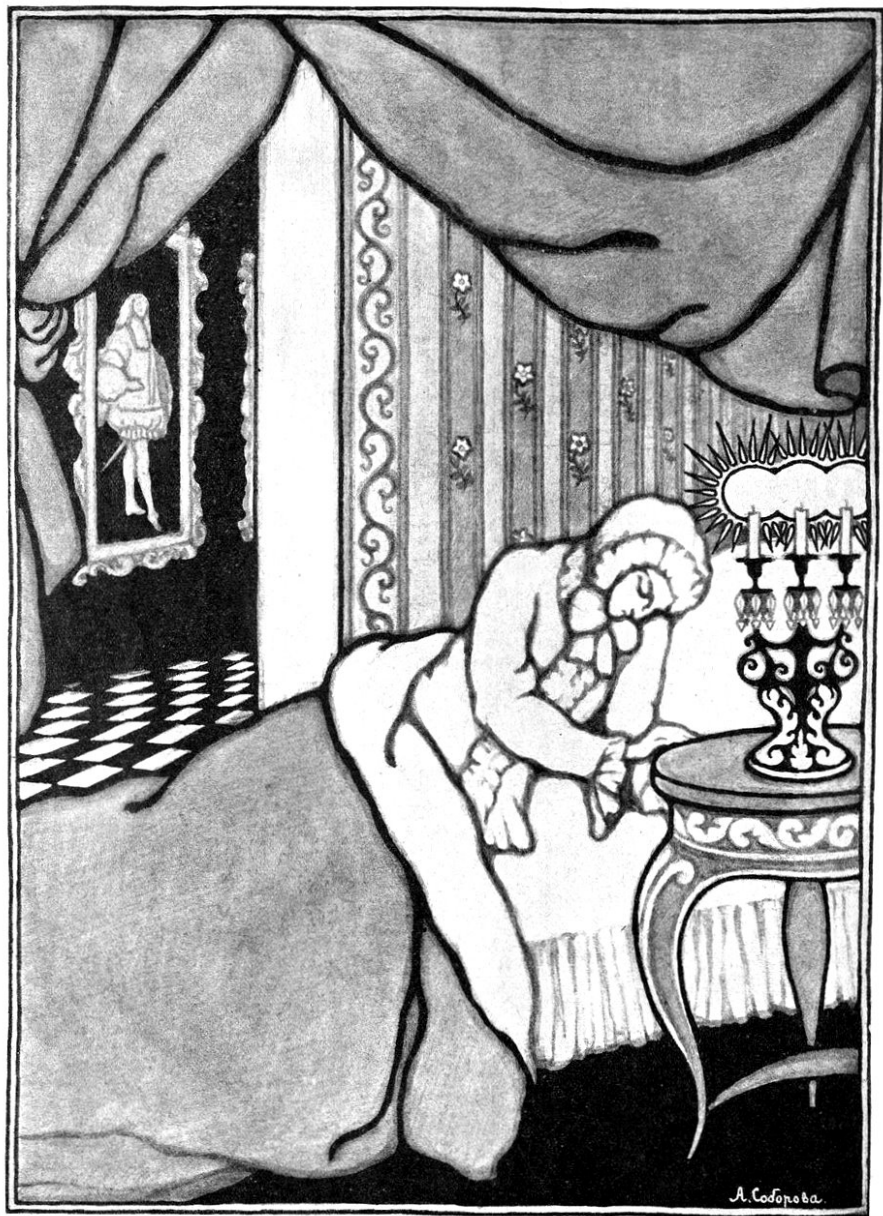
Княгиня Агрипина Юрьевна возлежала на высоком ложе. Восковое ее, иссохшее, обтянутое умирающей кожей лицо резко выделялось на белоснежной горе подушек. Огромные глаза горели ненавистью и страхом. Ненавидела она все, боялась смерти. Смерть давно поселилась в ее комнате, лежала под ее шелковым одеялом, холодила ей руки, обратила в две неподвижные деревяшки ее ножки, к которым склонялось когда-то столько поклонников, заострила ей нос, выставила все ее кости напоказ, всю комнату наполнила запахом тления и лекарств, отравила душу ужасом, смерть давно победила княгиню. Но Лютая не сдавалась. Она боролась, она еще хотела жить и сильнее, чем когда-либо. Ее сухонькие, шуршащие, как раздавленные змеи, пальчики еще шевелились, еще могли протянуться к звонку, нажать кнопку и вызвать ближайшую горничную, сиделку, лакея, сестру милосердия, постоянного врача, мученика в белом халате, других врачей, целый консилиум, — о, еще много было власти в этих отмирающих пальчиках — последнем, что шевелилось у княгини — еще стоило жить, жизнь еще была прекрасна, хоть и выражалась только в

хриплых звуках, давно уж не похожих на человеческую речь, и в молниях ненависти, вылетавших из огромных черных глаз, красоту которых воспевали ученики Пушкина.

Память давно уж изменила княгине, покрыла все, что было, голубым туманом. Изредка какие-то облики выплывали из этого тумана, но княгиня гнала их: она не любила своего прошлого. Она любила то прошлое, по отношению к которому она была молодой. Она любила играть в игрушки, которые подарила ее прапрабабушке Екатерина Вторая. Это были удивительные игрушки из драгоценного фарфора. Маленькие статуэтки подавались ей на серебряном подносе. Одну за другой брала она их и подносила к глазам. На мгновение впивалась в них горящим взглядом — и неужели можно назвать улыбкой эту жуткую гримаску, которой подергивалось тогда ее лицо?

В ящике столика, стоявшего у изголовья, лежала еще одна вещь, которую любила княгиня. Так любила, что доставала сама, никому не доверяя. Выдвинуть ящик и вынуть из него старинный сафьяновый футляр было для нее большим трудом, и потому делала она это очень редко, обыкновенно глубокой ночью, когда бессонница мучила ее, и все ее окружающие, как бессердечные, жестокие люди, спали, забыв про нее. А она чувствовала себя одной во всем мире, наедине с пустотой, с ночной тьмой, с огромным, чуждым ей городом, со всем прошлым, со всеми предками и с невыразимо страшным ей будущим, с единственным, что ей осталось еще пережить — со смертью.

Тогда она из последних сил, путем сложных движений пальцами, доставала футляр, клала его себе на грудь, открывала и впивалась глазами в черный бархат на котором лежал крупный, старинного гранения, бриллиант. Камень ее утешал. Он был ее единственным другом. Он ей светил, он ее убаюкивал. Злоба переставала ее душить. Дыхание ее становилось ровнее. Она засыпала, плотно прильнув костлявыми пальцами к футляру.



II

Не так далеко от набережной, в улице, пролегшей между задворками дворцов, в маленькой, неказистой на вид лавочке жил ювелир. Это был глубокий старик с подвижными глазами и каменным, красным лицом. Всю свою жизнь провел он над камнями. Итальянский еврей, он вышел из темных лавчонок Понте-Веккио в Флоренции, где, как нигде в мире, понимают, что такое драгоценные камни в жизни человеческой. Оттуда он вынес свою страсть к камням. В его черных глазах отразились и остались, казалось, лучи всех прошедших перед ними алмазов, рубинов, изумрудов, сапфиров, александритов. Может быть, он не так любил сами камни, как запечатленные в них людские страсти, падения, предательства, преступления. Он верил, что нет ни одного порядочного бриллианта, не запечатленного убийством. Он веровал, что только кровь, пролитая за камень, дает ему настоящий блеск. Он знал, что для камня можно все сделать. Кража камней была в его глазах добродетелью... У него не украли ни одного камня, так он их берег. Но если б украли, он уважал бы вора.

Как хищный сыщик, выслеживал он владельцев камней. Были у него древние книги с биографиями бриллиантов. И сам он вел такую ж книгу. Лет двадцать, как стала ему изменять память, а до этого он знал все бриллианты Петрограда. Он мог бы иметь огромное состояние, быть первым ювелиром столицы, но он презирал оправу. Вынуть камень из кольца, из ожерелья, из похожих на птичьи когти тисков золота, было для него священнодействием, подобным тому, какое совершают, выпуская весной птицу на волю, освобождая узника. Сколько он уничтожил, изломал оправ! Это был полусумасшедший старик, потому что он лечил камни, замученные оправой, холил их, лелеял, подвергал их особому режиму, держа то в вате, то в замше, то в хрустале. Ювелиров с Невского и Морской он презирал и ни одному из них не уступил ни одного камня. Его лавочку знали немногие. Он был большим другом одного из пер-

вых русских символистов. Последнее время, когда началась бешеная скупка бриллиантов, в его лавку стали заходить люди, каких он раньше не видал. Нельзя сказать, чтобы встречал он их приветливо. Это были новые для него люди, спекулянты, нажившие себе капиталы, поставщики армий, банкиры, биржевики, подставные лица больших чиновников, это была свора тех людей, которые, как пиявки, присосались к миллиардам, выбрасываемым на войну, и высасывали свои миллионы.

Старый Франческо был хорошим психологом: камни читать труднее, чем лица. В новых своих посетителях он не видел настоящей любви к камню, — увлечения, страсти, азарта. Их глаза не загорались от хорошего бриллианта, их ладони не дрожали, держа сокровище сокровищ, тайну тайн — алмаз. Неохотно вел с ними дела Франческо и слыл среди них скрягой и сумасшедшим.

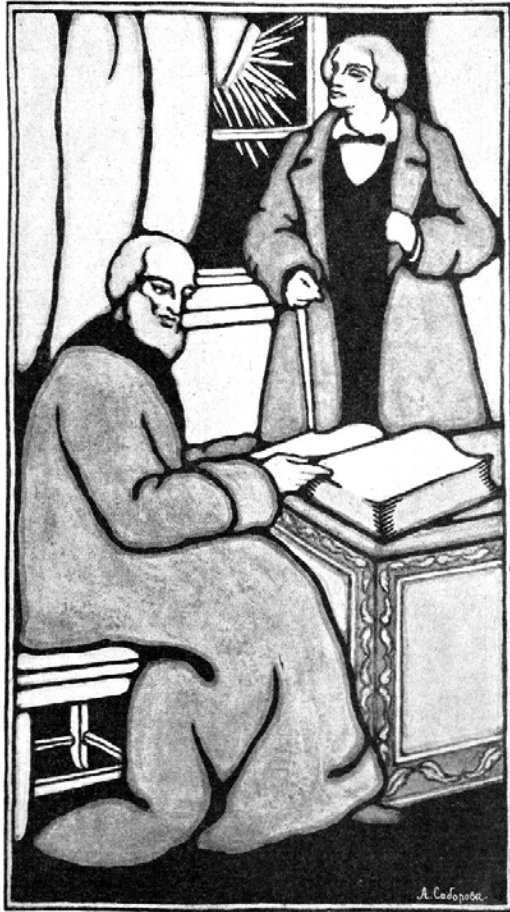
Но был среди них человек, которого и Франческо уважал — Филипп Прохин, сибиряк, утроивший за время войны свое и без того огромное состояние. Сутулый медведь на вид, грубый и удачливый в делах, он в душе презирал свою жизнь. Время от времени на него находила тоска. О его мрачных кутежах знала и Сибирь и обе столицы. Он часто зааживал к Франческо, и до глубокой ночи сидели два старика, беседуя о бриллиантах.

III

Вешние, зеленые сумерки затопили город.

Франческо был в мрачном настроении. Весна всегда его томила, северная, медлительная весна напоминала ему другую — итальянскую. Зеленые волны Арио звали его к себе. Часами он просиживал в полудреме, вспоминая Понте-Веккио и залитые солнцем набережные. Это было у него вроде весенней болезни. Так он сидел в кресле, когда вошел Прохин.

Старики поздоровались.



Прохин был тоже нахмурен.

— Мне нужен камень, — сказал он.

— Есть камни! — ответил Франческо.

— Мне нужен такой, каких нет, ни у кого нет.

— Не верите бумагам? Бриллиант надежней золота? Это верно! А на какую сумму?

— Не в том дело. Мне нужен камень для себя, для подарка.

— Женщина? — тихонько спросил ювелир.

— И какая женщина! Ах, Боже мой, Боже мой! Мало ли я их видал. И вот, как малый ребенок, ни бе, ни ме перед ней. Стою, смотрю и умираю.

— Весна! — мечтательно сказал ювелир. — Блондинка?

— Черная.

— Итальянцы сходят с ума по блондинкам. Мальчиком я был влюблен в одну англичанку...

— А глаза светлые, как вода у нас в Сибири, в черных озерах. Жутко смотреть, броситься хочется!

— Англичанка каждый день приходила что-нибудь покупать...

— К черту англичанку! Есть камень или нет?

— Для женщины все найдем. На какую цену?

— До полумиллиона.

У итальянца пальцы стали сухими и жаркими. Он схватил карандаш и написал пять с пятью нулями.

— До пятисот тысяч? — ослабшим голосом спросил он.

— Вы хотите отдать за камень пятьсот тысяч?

Они сели: ноги ослабели.

— А хоть бы и так! Жить не могу без нее. А в поклонниках у нее и министры, и депутаты, не считая князей. Только с камнем таким в руке и прошибешься к ней. Без него нельзя мне.

— А возьмет она камень?

— Мне такой и надо, чтоб взяла, чтобы в голову ударило, чтоб глаза ослепило, чтоб разум она потеряла, чтоб околдовал ее камень, и всех бы она прогнала, одного меня оставила.

— Да... — сказал раболепно итальянец, — да... Но где же взять такой камень?

Он нервно ходил за прилавком.

— Нет, значит, камня? — мрачно сказал Прохин. — Эх вы, ювелиры! К мелочам привыкли!

— Нет, но надо достать, непременно надо!

Глаза Прохина загорелись надеждой.

— Можете?

Итальянец рылся в пожелтевшей книге.

— Вот запись девяностых годов... Да, так и есть... «Князь Ипполит Матвеевич Седых-Лютов лично приносил бриллиант весом...» Мадонна! Вот то, что надо!.. «Оценен в... Продан не был. Князь желал только определить стоимость». Я вспоминаю, да...

Он поднял глаза и важно возгласил:

— У князей Седых-Лютых есть такой бриллиант, какого вы хотите.

— Сколько задатку?

— Я не могу принять. Может быть, они не пожелают продать родовую драгоценность.

— Князья-то? Продадут!

— Я узнаю. Придите завтра... Мадонна! Я помню, как этот бриллианта лежал у меня на руке, как он горел! Это замечательный камень! Равного ему я не знаю. Он так сверкает, как будто внутри его маленькое солнце. Он околдует вашу даму! Я достану его!

Прохин, как пьяный, вышел от ювелира. Мечты, одна другой огненней, волновали его. Что деньги? Он их сделает, сколько хочет. Велев откинуть верх в автомобиле, он, как бешеный, долго носился по городу, набережным и островам. Голова его горела.

IV

Княгиню Агрипшину Юрьевну Седых-Лютую мучила бессонница.

Сквозь двойные окна, занавески и портьеры в ее душную комнату пробивалась весна. Княгиня ее чувствовала и ненавидела. Если б ее воля, она запретила б солнцу светить и навсегда завесила б небо плотными облаками. Но днем от солнца еще можно было спастись портьерами. От весенней же луны, ночью, не было никакого спасения. Лунный свет проскальзывал в самые узкие щели, белыми острыми полосками ложился на ковры, стены и мебель. После полуночи луна залетала так высоко, что светила в верх-

ние круглые окна. Вся комната наполнялась ее холодным голубым светом. Она сама видна была княгине, мертвая, страшная, наглая.

Было полнолуние.

Княгиня уже два раза требовала доктора. Сонный, белый, он приходил, давал ей лекарство, говорил несколько успокоительных слов и уходил, как призрак.

Княгиня не могла уснуть.

Она пугалась собственной тени на подушке. Она велела остановить стенные часы, так как в мелодичном звоне колесиков ей слышались какие-то пугающие звуки. Она прислушивалась к беззвучной тишине лунной ночи и последним слухом угасающей своей жизни чуяла в ней весну.

Бессильная ярость ее охватывала, грудная клетка ее вздымалась. Она успокаивала себя, взывая к чувству самосохранения.

Память ее пробуждалась, мозг выходил из обычного полусонного состояния, воображение остро начинало работать.

Вся ее долгая, внешне блестящая, втайне — развратная и несчастная жизнь вставала перед ней. Она видела себя институткой, бойкой, ловкой, хорошенькой, получившей комплимент от самого императора, потом фрейлиной красавицы-принцессы, только что привезенной в Россию, потом невестой блестящего князя Матвея Седых-Лютого. Вереница балов, маскарадов, спектаклей, интриг и невинных романов промчалось в ее памяти. Она вспомнила недолгое счастье супружеской жизни, измены мужа, свои слезы, потом своих любовников, начиная с первого, взятого от отчаянья, без страсти и восторга, как берут в рот яд, и кончая последними, на итальянской Ривьере, покупаемыми жадно, почти без разбора, как покупают последние места в театр на блестящее представление. Она вспомнила начало своей болезни, мотовство сына, поиски денег, заклад дворца, всеми силами стараясь не вспоминать этого. И вот ее мысль вернулась к тому же, откуда она улетела: к этой лунной, весенней ночи, зовущей всех к наслаждению, а ее, княгиню, к смерти.

Она заметалась головой по подушке.

Ее сухонькие пальцы судорожно перебирали край одеяла.

Какая тоска, какой ужас, какое бессилие!

А луна стояла прямо над ней и очертания лунных гор складывались в насмешливую гримасу.

Вдруг княгиня вспомнила про бриллиант.

Он спасет! Он поможет.

Как две белые змеи, мешающие друг другу, ее руки потянулись к ящичку столика, выдвинули его со страшными усилиями, пошарили в нем, нащупали футляр, достали его и, дрожа, принесли на грудь.

Княгиня закрыла глаза, отдыхая от тяжелой работы. Губы ее скривились: сейчас она увидит камень.

Она нажала кнопку, футляр открылся...

Камня не было.

Княгиня пошарила руками вокруг себя, думая, что он скатился.

Но камня нигде не было.

Злоба, ненависть, бешенство прихлынули к сердцу княгини и остановили его. Она открыла рот, чтоб закричать, и не успела. В судорогах скрючились пальцы. Глаза закатились. Луна бесстрашно глядела в пустые белки мертвой.

Футляр скатился по шелковому одеялу на ковер, глухо щелкнув затвором.

Какой-то чуткий прохожий, пробегая по набережной, в страхе обернулся на дворец, испуганный мертвым взглядом его окон.

V

Франческо не спал в эту лунную ночь.

Он сидел над камнем.

Получить его стоило ему не так уж дорого, особенно в сравнении с той суммой, которую завтра утром должен был принести ему Прохин. Франческо сказал ему, что получит

камень завтра, чтоб насладиться одному блеском дивного, как он был уверен, бриллианта.

Но наслаждения от камня он не получил никакого.

Бриллиант был поддельный.

Франческо убедился в этом с первого взгляда. Исследование подтвердило это.

Оттого Франческо и сидел над ним.

Лицо его выражало одновременно и огорчение и презрение. Граненое стекло лежало прямо на столе.

Как это могло случиться, что камень оказался поддельным? Очень просто. Наверно, тогда же, когда князь Ипполит приносил бриллиант Франческо, он и продал его. Княгиня могла и не заметить подмены.

Франческо не то беспокоило.

Он не знал, как поступать ему дальше с Прохиным. С одной стороны, честь старого ювелира не позволяла ему продать стекло за бриллиант. Но, с другой стороны, та же честь не допускала, чтоб у него не оказалось обещанного камня.

Тем более, что он был так нужен Прохину.

В лютой борьбе с самим собою проводил ночь Франческо.

Он брал камень на руку. Легкий вес раздражал его опытную ладонь. Он подкидывал камень слегка, наблюдая за его гранями.

Подделан камень был изумительно, рукой искусной; только знатоки могут заметить, что он не настоящий. Особенно, если его оправить. Франческо задумался.

Он ненавидел оправу. Но если отдать Прохину камень без оправы, тот понесет его к другому ювелиру и тогда... Но неужели Франческо продаст стекло за бриллиант?

Он закрыл электричество, подошел к окну. Загляделся на луну. Весенняя луна что-то будила в нем неясное. Память о лунных ночах на Лунгарно? О поцелуях итальянок, таких же, как он, подростков? Да, о каком-то другом мире затосковал он под внешней луной. И потянуло его, потянуло куда-то...

Он продаст камень и уедет!

Теперь трудно ехать, но все равно, он доедет. Как сквозь сон, видел он весеннюю Флоренцию, ранние вечера, огоньки на Фьезоле, цветущие деревья; в горах тает снег, полноводная Арно, кипя, несется в высоких берегах. Если есть еще жизнь для него, то она там, на родине!.. Пятьсот тысяч! Да на что ему столько? Он и за половину продаст свою душу.

Франческо потянулся к луне, открыл свет и принялся за работу с жаром. Он умел работать, и к утру кулон был готов.

VI

Что такое счастье?

Это знал Прохин на следующий день.

Купить такой бриллиант за двести тысяч! Это ли не счастье? Послать его любимой женщине и не получить отказа! Это ли не счастье? Ждать вечером свидания, обещанного по телефону — и каким голосом? Это ли не счастье? Конечно, это оно привалило к Прохину.

Ну и чудесный же старикашка, этот Франческо! Как получил деньги, задрожал весь. Италией бредит, чемоданы вытаскивает. Первый друг он Прохину. Такой камень выискал и по своей цене отдал! Никогда не оправляет камней, а этот оправил!

С полудня во фраке, Прохин ждал вечера в радостном возбуждении, долго катался по городу, делал визиты, целовался со всеми, сорил деньгами, мечтал о своей красавице.

Наконец, настал вечер.

Прохин приезжает, Прохина принимают, он входит в атласную гостиную. Хозяйка выходит, подает ему обе ручки.

Но нет, не такой встречи он ждал.

Она холодна, беспокойна, его красавица, ее глаза то насмешливы, то печальны.

И камня на ней нет.

— Тяжел, должно быть? — ухмыляясь, спрашивает Прохин.

— Кто?

— Камешек-то мой?

— Нет, — рассеянно отвечает красавица, — замок на цепочке слаб, я послала к ювелиру. Вы не беспокойтесь, сейчас принесут.

— Замок слаб? Да, тут замок нужен покрепче, на пол-миллиона!

Красавица недоверчиво смотрит на Прохина.

Горничная вносит пакет и письмо.

Прохин оживляется, тяжело дышит.

Красавица раскрывает пакет, достает футляр, берет из него кулон.

Прохин жадными глазами впивается в нее.

— Моя, моя! — огненными молотками стучит у него в висках. Сердце бьется так, что даже неприятно. Радужные круги плывут у него перед глазами, собственная кровь кажется ему тяжелой, как свинец. Выхватить бы ее, красавицу, из этой комнаты с мебелью, в которой и сидеть нельзя, да умчать куда-нибудь в темноту...

Но какое ж это письмо она читает?

И почему ее лицо покрывается пятнами?

Что?

— Обманщик наглый! Торгаш без стыда и совести! — кричит красавица, становясь страшной. — Посмешищем меня хотел сделать! Булыжник вместо бриллианта подносит! Бриллиант поддельный, поддельный, поддельный!

Скомканное письмо с фирмой известного ювелира и кулон летят в лицо Прохину.

— Бриллиант поддельный? — хрипит он. — Пятьсот... две-сти тысяч отдал, клянусь...

Лицо его наливается кровью, он тяжело падает с кресла, высунув пол-языка между хищными зубами, одна бровь у него дергается. «Поймаю старика! — пронесится у него мысль. — В кровь изобью...» и радужными буквами прыгает перед ним слово «Италия, Италия, Италия...»

VII

Вскоре три известия промелькнули в газетах. В черной, жирной рамке извещалось, что Филипп Иванович Прохин, волею Божьей, скончался после непродолжительной, но тяжелой болезни.

В отделе происшествий, мелким шрифтом, сообщалось, что бывший когда-то известным ювелир Франческо Цимпи повесился в своем магазине от нищеты.

В городской хронике сообщалось, что в одно из крупных учреждений по оказанию помощи жертвам войны от лица, пожелавшего остаться неизвестным, поступило пожертвование в двести тысяч рублей.

О перевезении же тела княгини Агриппины Юрьевны Седых-Лютой в склеп церкви имения, когда-то ей принадлежавшего, даже не объявлялось в газетах. Но в списке убитых промелькнуло недавно имя ее сына.

ФИРС

Илл. Г. Заборовского



Много раненых прошло через наш лазарет. Были среди них и подлинные герои, вышедшие на войну с огненной верой и незыблемой решимостью победить; были и тихие души, которым трудно было военное дело, но которые делали его с той же безропотной покорностью высшей воле, с какой они все делали в жизни. Много красивых, славных, добрых, простодушных людей мы увидели, и вдоволь могли налюбоваться многоцветной русской душой.

Но один раненый особенно нам запомнился.

Звали его Фирс.

Это был немолодой уже солдат. Говорили, что ему было под пятьдесят.

Но про это никак нельзя было сказать по его наружности.

На старинных иконах, в глуши далеких деревень встречаются такие лица — с темной кожей, с небольшими яркими глазами, внушающие необычайное доверие к себе и вообще к человеческой жизни. Глядя на них, можно видеть, к какой долгой жизни способен человек, как прочно его тело и какая стойкая его душа.

Сядет, бывало, Фирс на своей койке, подергает небольшую свою бородку, посмотрит куда-то вдаль и начнет рассказывать певучим своим голосом.

Все его рассказы начинались одинаково:

— Фирс — я, крещеные! Так меня и зовут Фирс, что значить палка волшебная, виноградной ветвью обвитая.

Очень ему нравилось значение его имени.

Объяснит он его и потом обводит всех яркими своими глазами, спрашивая:

— Неужто не дивное имя у меня? Такого имени, наверное, вы и не слыхивали. В святцы теперь народ не заглядывает. А я из-за имени своего и на войну пошел.



— Как же случилось это? Расскажи! — скажет кто-нибудь со своей койки.

И начинает свою повесть Фирс, волшебная палка:

— Доброволец я, охотник. По летам своим призыву не подлежу.

Хвастал он немного своей молоджавостью и, говоря о годах своих, улыбался, показывая полный частых белых зубов.

— А по жизни своей я — бобыль. Живу на краю деревни, почитай в лесу, в посте, в работе, да тишине. Помните, ребятки, какое сухменное лето ныне выдалось? Мгла стояла над землей, дождей не было. И молить не смел народ о дожде. Знал, что бездожье это не для того, чтобы засуху сделать, а знак подать: готовьтесь, мол, бдите! Сколько пожаров лесных было! Да что лесных! Сама земля-матушка горела, как в последние времена. И вот в ту пору одолели меня сны. Сплю и сплю. Думалось сначала, что от гари это, а вышло получше. Прилег я как-то ранним вечером и уснул. И снится мне сон необыкновенный. Стою я будто на высоте. Подо мною земля лежит, и города по ней диковинные с башнями. А над моей высотой еще выше стоят высоты, белым жемчугом сверкают, а над ними само небо, и такое синее, какого в наших местах не бывает. И сходит с неба воин крылатый. В правой руке у него меч огненный, а в левой — палка волшебная, виноградной ветвью обвитая. Я и потянься, по человечеству своему, к этой волшебной палке и говорю: «Я — Фирс». А воин крылатый отстранил палку и приблизил ко мне меч, так что я жар его на лице своем почувствовал. Такой диковинный сон мне приснился, и ничего я сначала не понял, потому что не было тогда еще войны, только мгла и гарь стояли над землей. А как объявили войну, я все и уразумел и в тот же день заявился охотником. Говорили мне люди: «Куда идешь? Старик ведь!» А я, хоть и был стар, а юнее юных себя считать мог. И вправду, в герои не вышел, а солдатом не хуже других состою.

И опять он обводил всех своим светлым взором.

— Ты — солдат хоть куда! — говорили ему раненые.

— Когда в атаку бежишь, как лев, рычишь.

А Фирс продолжал рассказывать:

— И что ж вы думаете, ребятки? Сбылся сон мой весь, как есть. Как мы взяли город Львов, как увидел я его, так и пал на землю в радости и молитве: он самый, мой город с башнями, который я во сне увидел! И сподобил же Бог меня, никудышного, города брать! Как вы думаете, братцы, тут не без перста Божия? Одно у меня горе — Перемышль без меня взяли. А все по неверию моему.



— Как по неверию?

— Ранен я был по неверию своему, из строя выбыл.

— Вера тут не при чем. Пуля — дура, не знаешь, куда ее ждатель! — задумчиво заметил один солдат.

— Это ты напрасно! — укоризненно отвечал Фирс. — Молод ты, оттого и в мыслях таких. У ангела-то, которого я во сне видел, в одной руке меч был, война то есть и смерть, а в другой — палка волшебная, виноградной ветвью обвитая, то есть жизнь и спасение. Вот о ней-то я все время и думал, и никакая пуля меня не брала, по вере моей. И не время бы, да суета одолела.

— Это аэроплан-то пролетел? — спросил солдат.

— Вот он самый! Мне бы на него не смотреть, пускай себе летает, гадина с крыльями. А я не удержался. Высунулся и смотрю. И так это невиданно, что я про свое, про душевное, и думать забыл. Тут пульей меня и шибануло. Ну, да это ничего, все пройдет, опять пойду в строй. И шалишь! Больше меня пульей не возьмешь!

— Скоро поправишься! — заметил тот же солдат. — Тут хорошо в лазарете, благодать! Вылечат скоро!

— Не в леченье дело! — как бы сердчая, ответил Фирс, — а опять-таки во мне самом. Хочу — заживу, хочу — помру. Я б и в луже лежа, на грязной земле, мог бы рану свою заживить. Что там перевязка! Сверху прикрыто и все. Рана снизу заживает. Ты снизу и напирай, сам, значит, от себя. Без напора не заживет. Мало ли народа умирает?

Много смеялись у нас в лазарете над такими словами Фирса. Но— странное дело!— рана его, не очень, впрочем, тяжелая, заживала явно скорее, чем у других. Может быть, здоровье брало, а, может быть, и «напор» помогал Фирсу поправляться.

Как бы то ни было, поправился он скоро и выписался, и опять ушел к своей части. И стоит где-нибудь теперь под вражьими пулями наш Фирс, волшебная палка, защищая нашу Русь, столь же богатую верой, как его душа.

От таких, как он, пойдут в будущие времена легенды о нынешней войне, и хорошо он будет рассказывать о битвах и новых землях, если суждено ему вернуться в свою хату на краю деревни.

А если сразит его пуля в минуту, когда опять какая-нибудь «суета», вроде аэроплана, привлечет его внимание, то крылатый воин, который ему снился, опустит на мгновение свой огненный меч и отведет его в лучший уголок рая.

ТАЙНАЯ ПРАВДА

Жадными глазами пробегая прибавление к вечерней газете, только что купленной на улице, Костя подымался по лестнице к квартире своих друзей, у которых жил.

В донесении штаба Главнокомандующего опять говорилось о мелких стычках, и Костя был этим разочарован. Он ждал гигантского боя и представлял себя его участником с той страстностью, с какой мечтают только о том, что никогда заведомо не сбудется.

Костя был хром и уйти на войну не мог. Ушел на войну его друг по гимназии и университету, с которым он с детских лет жил душа в душу, Витя. Соединяло их сходство характеров, взглядов, привычек, и столь тесно, что, когда Витя ушел, его мать, вдова, предложила Косте поселиться у них.

В минуты, когда особенно злая досада брала Костю на то, что он не на войне, — он логически утешал себя тем, что его ближайший друг воюет. Но душа его на этом не успокаивалась.

Душа его так же, как и Витина, гармонически соединяла в себе созерцательность с любовью к деятельности. Часами друзья могли предаваться беседам о том, что дала человеческая мудрость, но как только они во что-нибудь уверовали, у них являлась потребность делом доказать свою веру. Но тут часто мешала Косте хромота. Он в делах отставал от друга. Зато сильнее развивалась в нем душевная жизнь, как всегда это бывает у людей с физическим недостатком. Впервые резко почувствовал эту разницу Костя по окончании гимназии. Они тогда решили, что России нужнее всего железные дороги, и оба выдержали в институт путей сообщения. Но как только начались практические занятия, Костя отстал и должен был переменить профессию. Он поступил на филологический факультет и увлекся психологией. Показалось ему, что в этой зачаточной науке больше, чем в какой-либо иной, он найдет применения и созерца-

тельной, и деятельной сторонам своей души.

Друзья виделись часто, и общая жизнь их, несмотря на различие ближайших интересов, опять начала налаживаться.

Но загорелась война, и Костя вторично — и на этот раз гораздо больней — почувствовал свою оторванность и от друга, который в первые же дни записался добровольцем, и от деятельной жизни, которая возникла в России с началом войны.

Было это ему тем мучительней, что никогда не представлялось и никогда в будущем не могло больше представиться такого яркого случая проявить согласованность веры с делом тем, кто ее, как Витя и Костя, имели.

Вервали Витя и Костя и до войны еще, что не во внешнем техническом прогрессе, достигнутом германской расой, просвечивает будущее Европы, а в глубинах славянского духа и в молодой русской культуре. Столкновение славянства с германством встречено ими было радостно, и радостно готовы оба были бросить свои жизни на славянскую чашку бурно заколебавшихся весов мира.

Но исполнить это мог только Витя. Костя остался в бездействии и созерцании. Действием для него было только одно: взять ружье и идти. Правда, первое время он начал работу в комитетах, делал обходы, участвовал в кружечных сборах.

Но эти малые дела так непохожи была на те великие, о которых он мечтал, что он скоро оставил их.

Друзья переписывались, и связь между ними не прерывалась.

Временами подолгу не приходило писем от Вити. Тогда Костя вспоминал с тоской последнюю фразу, сказанную другом перед разлукой:

— Если я буду убит...

Конца не услышал Костя: тронулся поезд, поднялся шум, и тщетно хотел Костя хоть на лице друга прочесть конец его мысли. Бледное лицо Вити улыбнулось и скрылось. Не то виноватое, не то обещающее было выражение этой улыбки, и Костя хорошо его запомнил.

Пробежав газету глазами, Костя позвонил довольно робко.

Было уже поздно, и ему было неловко возвращаться в чужой, все-таки, дом, когда все, вероятно, спят.

К удивлению его, в передней был огонь, и из гостиной доносились голоса.

— Костя, это вы? — спросила Витина мать, Марфа Николаевна, — какие новости? Входите сюда и рассказывайте.

Костя разделся и вошел в гостиную нехотя, потому что его тянуло к меланхолическому уединению. В гостиной он застал небольшое общество. Вокруг Марфы Николаевны сидели: доктор Красик, человек, несмотря на свою старость, с ярко-черными волосами и, несмотря на жизнь в городе, с сильно загоревшим лицом; Васса Петровна, дальняя Марфы Николаевны родственница, которую Костя терпеть не мог за один вид ее — подобострастной приживалки; и Пенкин, товарищ Вити по институту, фатоватый юноша, очень тщательно причесанный и слишком всегда почтительно целующий ручки Марфе Николаевне. Его Костя тоже не любил.

Костю заставили рассказать ночные новости с войны. Он вяло это исполнил и хотел уйти, но Марфа Николаевна остановила его:

— Посидите с нами. Мы интересные вещи обсуждаем. Послушайте, что начала рассказывать Васса Петровна! Только ты с начала начни, — обратилась она к ней.

Костя со вздохом опустился в указанное ему кресло, а Васса Петровна начала снова прерванный приходом Кости рассказ:

— Мать моя, — начала она с некрасивым жестом, как бы вынимая из себя слова, и срывающимся тоном, как будто ей никто и поверить не мог, что у нее была мать, — мать моя жила отдельно, и я сама отдельно. Ложусь я спать, надо сказать, поздно.

Она улыбнулась, как бы извиняясь, что рассказывает про себя, девушку, еще не сознавшую своей старости, такие под-

робности, и продолжала:

— Часу во втором ложусь. А все в том доме, где я жила, ложились рано, и никто уж к нам прийти не мог. Дверь, конечно, на запоре и на задвижке, и на цепочке. Все, повторяю, спят. И вдруг звонок.

Она привскочила на кресле и энергично дернула воздух, как дергают ручку звонка.

— Я к дверям. Спрашиваю: кто там? Слышу, что никого нет, да и быть не могло.

— Так это кто-нибудь пошалил, Васса Петровна, вот и все! — вскричал весело путеец Пенкин и обвел всех глазами, делая их страшными, — а вот я расскажу...

— Нет уж, дайте мне кончить! — обиженно сказала Васса Петровна, вся покрасневшая от удовольствия, что она в таком светском обществе рассказывает такую интересную историю из собственной жизни.

— Докончу, тогда и замолчу!

— Досказывай, досказывай! — поощрила ее Марфа Николаевна.

— На этой лестнице только наша квартира была, и входную дверь внизу мы сами запирали, — рассказывала Васса Петровна. — Никакой хулиган не мог забраться и позвонить. Это был не человеческий звонок!

Она сделала паузу и продолжала пониженным голосом:

— Не к добру это, подумала я и заснула. Утром просыпаюсь — телеграмма от сестры, что мать моя умерла. Еду к ней и узнаю, что как раз в том часу, когда был звонок, она повесилась. Вот и говорите тут, что нет чудес!

Конец рассказа был неожиданным. Все молчали. Марфа Николаевна чувствовала некоторое неприличие в том, что ее близкой подруги мать умерла так вульгарно — повесилась!

— Теперь — ваш рассказ! — обратилась она к путейцу.

Пенкин, поклонившись ей, деланно-докладным тоном проговорил приготовленные слова:

— Мой случай занял бы в телепатии не первое место — где-нибудь рядом с случаем Вассы, если не ошибаюсь, Петровны. Случай следующий. Я сообщу его с краткостью до-

кумента. 13-го ноября девятьсот тринадцатого года — я помню эти числа, потому что цифры дня и года совпадают — умер мой дядя, с которым я виделся незадолго до его смерти. По записи сиделки, умер он половина пятого утра. Половина пятого утра я проснулся от того, что меня кто-то позвал громко, по уменьшительному имени, как меня звали в детстве. Вот и все. Час я заметил, взглянув на часы, висящие всегда ночью над кроватью. Явление, как видите, не очень сложное, но очень четкое.

Он кончил и, обедя всех глазами, остановился на докторе, внимательно его слушавшем.

— Очень интересно! — с таким видом, как будто съела конфету, поощрила Пенкина Марфа Николаевна. — Ну, что вы скажете на все это, доктор?

Доктор еще молчал.

Ненавидя молчание в своей гостинной сильнее, чем природа в своем царстве пустоту, Марфа Николаевна обратилась к Косте, скучавшему, выдавая скуку за задумчивость, в своем кресле:

— Вы знаете, наш доктор — необыкновенный доктор. Он друг факиров.

— Вот как? — немного заинтересовываясь, поддержал разговор Костя.

— Да! И он может прокалывать себе горло и щеки простой шляпной булавкой.

— Ах, какой ужас! — взвизгнула Васса Петровна.

— Не визжи! — остановила ее Марфа Николаевна. — Кровь не идет при этом. Вы, кажется, хотите что-то сказать, доктор?

Каждое слово подавая, как повар вкусное блюдо, доктор сказал:

— Только одно, Марфа Николаевна! А именно: не удивляйтесь, но изучайте. Прежним людям все, что мы знаем теперь, как азбуку, показалось бы чертовщиной. Поэтому и мы не должны считать чудесами случаи, рассказанные господином Пенкиным и Вассой Петровной. Кое-что в этой области мы уже знаем. Телепатия уже наука. Подобно тому, как радий испускает безостановочно лучи, излучает какую-

то энергию и ваш мозг. Мы только не умеем еще улавливать эти мозговые лучи. Только случайно, когда удачно складывается обстановка, мы их улавливаем. Но бессознательно мы и теперь кое-что подметили и употребляем в повседневной жизни. Мы любим картины великих художников. В них есть для нас притягательная сила. Должно быть, они хороши не только тем, что их краски красивы, но и тем, что на них нахлобачилась энергия, излученная мозгом и глазами художника. По тому же самому волнуют нас предметы старины и вещи великих людей. Все это еще не изучено. Но когда будет изучено, мы будем пользоваться лучами нашего мозга легче, чем почтой и телеграфом. Повторяю, нужно усовершенствовать восприимчивости, ибо отправители действуют с сотворения мира. Я думаю, что нынешняя война, когда психическая жизнь целых наций находится в повышенном возбужденном состоянии, даст много нового в области телепатии, даст много такого, перед чем рассказанные здесь случаи будут казаться детским лепетом. Я, по обыкновению, заговорился и произнес целую лекцию вместо одного слова. Я его повторю и им закончу: не удивляйтесь, но наблюдайте и изучайте, в мире много еще тайной правды, которую мы должны открыть. Засим, позвольте закончить.

— Пожалуйста! — сказала Марфа Николаевна, подвигая доктору пепельницу. — Вы удивительно интересно все объяснили!

— Не понимаю, — опять обижаясь, сказала Васса Петровна, — как это может мозговой луч за звонок дернуть?

— А вы наблюдали уже что-нибудь за время войны? Или, может быть, вам сообщали о каких-нибудь фактах? — спросил доктора Пенкин.

Доктор задумался, как бы скупясь рассказывать.

Костя был несколько растревожен рассказами доктора. Весь день сегодня был он в странной сосредоточенности. Не от того ли, что друг его думает о нем? Может быть, он сегодня в опасности? Но ведь большого боя нет. И потом вся эта телепатия вовсе еще не наука, как уверяет доктор. Просто это непроверенные факты. А странное состояние

сегодня от усталости. Надо пойти к себе в комнату и лечь спать.

Костя встал и начал прощаться.

— Как, вы не хотите еще слушать доктора? — задержала его Марфа Николаевна.

— Я очень устал. Я извиняюсь, — ответил Костя и пошел к себе.

Доктор не хотел больше рассказывать, как его ни упрасивали.

3

Костя прошел в свою комнату, которая прежде была Витиной, быстро разделся и лег в кровать. Но уснуть не мог.

— Переутомился, — подумал он, — надо забыть про то, что пора спать, тогда сон придет.

Он встал, надел халат и сел за стол.

Стол стоял посреди комнаты, все в нем было, как при Вите, только прибавился портрет Вити в рамке георгиевских цветов.

Небольшая зеленая лампочка уютно освещала комнату. В углах гнездились мягкие, зыбкие тени.

«Наверное, — подумал Костя, — когда являются привидения, так они начинают в тенях, то есть мы сами хотим что-то увидеть в тенях и, наконец, видим. Но почему я думаю об этом? Все глупые рассказы и докторские фантазии. Нужно же поддерживать разговор в гостиной! Лучше бы о войне говорили».

Костя придвинул блокнот, начертил течение Бзуры и стал проектировать обходы. Ведь стратегу можно быть хрым, и сладкая надежда чудом попасть в какой-нибудь штаб и там удивить всех знанием стратегии и талантом к ней, не покидала Костю. Он углубился в чертежи.

Прошло, — никогда не знал он сам потом, — сколько времени, и вдруг он поднял глаза по неодолимому внутреннему велению.

Перед столом, в нескольких шагах перед ним, стоял Витя. Он не из теней сгустился, не от стены отделился, а вошел, как входит всякий человек, и, поднимая глаза, Костя, казалось, успел заметить последние его шаги перед тем, как он остановился.

Он был совсем такой, как на вокзале в минуту отъезда, такой же бледный и с той же не то извиняющейся, не то обещающей что-то улыбкой. Впрочем, ничего частного ни в одежде, ни в выражении Костя не заметил. Костя увидел и понял только одно, что перед ним стоит Витя.

И в ту же минуту он услышал два слова, сказанные Витей обычным голосом, как он всегда звучал в этой комнате:

— Я убит.

И больше не было его в комнате. Он ушел так же мгновенно, как вошел.

В тоске, более сильной, чем страх, выскочил Костя из-за стола, пробежал по комнате и коридору до столовой. Никого нигде не было. Гости давно ушли, и огонь везде был погашен. Из комнаты Марфы Николаевны шел узкий красный свет. Это она молилась под лампадами о сыне своем.

Первым движением Кости, когда он опомнился, было броситься к ней, но у него не хватило мужества. Все, что случилось, было слишком реально для того, чтобы Костя сам мог не поверить. Но матери сказать он не решился.

В тягчайших муках дождался он дня. Под пыткой ожидания стал он жить. От Вити по-прежнему пришло письмо, но было оно последним. Через несколько дней он был опубликован в списке без вести пропавших. А потом стали известны и подробности того, как он погиб на разведке, в ту ночь, когда привиделся Косте.

Даже глядя на траур и слезы Марфы Николаевны, Костя не сказал ей про то, что было. Тайна явления друга стала самым важным в его жизни. Он усиленно стал изучать душевную человеческую жизнь, чтобы ускорить будущее, когда откроется тайная правда.

ПОРТРЕТ УМИРАЮЩЕЙ

Илл. Е. Нимич



ПОРТРЕТЪ УМИРАЮЩЕЙ.

РАЗСКАЗЪ С.ГОРОДЕЦКАГО.

В огромном, заставленном книгами и завешенном портретами кабинете доктора каждый четверг собирались его друзья— писатели, художники и актеры. Доктор и себя самого считал более артистом, чем врачом, потому что его специальность была хирургия. Он не чужд был и поэзии: писал шутливые стихи, а большие, в красном сафьяне, тома его мемуаров давно составляли предмет вожделения историков литературы.

В один из зимних четвергов зашел горячий спор о том, как трудно стать настоящим, уверенным в себе художником. Много говорили на эту тему, час был уже поздний. Доктор, против обыкновения, слушал молча. Наконец, когда гости собирались уходить, он попросил их остаться и выслушать рассказ об одном его пациенте.

Случаи в его практике, действительно, бывали необыкновенные. Он обладал чуткой ко всему человеческому душой, он во многом напоминал московского доктора Гааза, и судьба за это часто давала ему возможность заглядывать в тайники жизни.

Все охотно, несмотря на усталость, стали его слушать.

— Да, — сказал доктор, — трудно стать художником. Но еще труднее, — знаете что? Перестать был художником. Чей мозг узнал, что такое творчество, тот никогда не избавится от особенной, странной болезни, — поэзомании, как я бы ее назвал. Вот один из примеров. Несколько лет тому назад я был приглашен на юг, в имение, к забытому мною

прежнему приятелю, обладателю великолепного имения. Впрочем, нет, я должен начать не отсюда. Я должен попросить вас перенестись мысленно к началу нашего, двадцатого века, то есть лет на двадцать назад, к тому времени, когда все мы были молоды, не лысы и не седы. Я был тогда домашним врачом у дряхлой графини, прикованной к постели. Это было мучительно — состоять при ней. Каждый вечер я должен был являться к ее особняку на набережной и оставаться там до утра. Каждую минуту меня могли будить и звать к больной. Это была настоящая школа терпения. Пустынные залы со старинной мебелью, лакеи, похожие на мумий, музыкальный бой часов, все это, правда, создавало известное настроение, но попытка бессонницы мало способствовала восприятию тонких настроений.

Графиня была в параличе. Только при том уходе, который ее окружал, могла еще теплиться жизнь в этом полумертвом теле. Она с трудом говорила и могла одной рукой делать знаки, стучать по столу. Но я, кажется, вдаюсь в подробности, удаляющие от рассказа. В один прекрасный день она пожелала, чтобы с нее был написан портрет. Это было странное желание. Портреты ее в молодости и в средних годах украшали галерею дома. Были отличные фотографии последних перед болезнью лет. Но писать с нее портрет теперь могло бы заинтересовать только художника вроде Гойи. Трудность заключалась еще в том, что даже теперь в графине сохранялось женское кокетство и быть на портрете прикрашенной ей хотелось, наверное, не менее, чем лет в тридцать или сорок. Представьте себе голый череп в чепчике из драгоценных кружев, сморщенный лоб, два седых клока над глазами, из которых один сильно косит, крючковатый и немного вбок нос, провалившиеся щеки, тонкий длинный рот и маленький заостренный подбородок — и вы поймете, какую натуру я мог предложить художнику.

Сначала мы предложили обратиться к знаменитостям, но Серов был уже давно в могиле, а смелые приемы Репина никогда не нравились графине. Тогда я вспомнил про одного молодого, совсем еще неизвестного художника, ко-

торый специализировался на передаче эпидермы, то есть кожи. Пушистую девичью щеку он умел нарисовать так же хорошо, как сморщенную старушечью. Я не скажу вам больше ничего, потому что он и теперь здоровствует, и картины его вы можете видеть в наших музеях на видном месте. Будем звать его Вадимом. Так звали его сына, которого родила ему служанка и которого я при всех стараниях не мог спасти для жизни. Это был короткий и тяжелый роман, но не в нем дело. Вадим жил в мансарде. Его комната была мала, сыра, темна. Как сейчас помню неуклюжий шкаф, стоявший посередине, к которому он прикреплял свои холсты. Постель была завалена платьем, а в шкафу на дне стояли грязные тарелки и стаканы, пустые бутылки. Пол завален был этюдами. Вадим числился учеником академии, но работал самостоятельно. Бедствовал он страшно. После некоторых колебаний графиня согласилась пригласить его. Мне даже показалось, что ей было приятно соглашаться позировать молодому художнику, и ломалась она из упрямства. Вадим принял этот заказ, как знак милости к нему высших сил, в которые он, увлекаясь оккультизмом, верил. Он приготовил холст, и я его повез на первый сеанс. Встреча художника с натурой была замечательна. Графиня, казалось, насквозь его пронизала острыми своими глазами, и на губах ее появилась гримаса, которой я раньше не замечал. Она старалась скрыть свое волнение и рассердилась, когда я попробовал пульс. Вадим готов был отшатнуться, увидав ее в первый раз, но художник поборол в нем человека, и он принялся за работу далеко не с холодом. К концу сеанса она попросила меня оставить ее наедине с художником для окончательного разговора об условиях. Я был удивлен. Вадим вышел от нее с видом человека, продавшего душу черту. Он мне сказал, что плата за портрет, и без того значительная, ему будет удвоена, если он передаст желаемое выражение лица. Какое именно, он не сказал. Я остался в недоумении. Сеансы продолжались, но я на них не присутствовал. Портрет стоял в комнате графини, всегда закрытый! Она все время беспокоилась, чтобы кто-нибудь не опрокинул мольберта, не подсмотрел бы рабо-

ту. Сеансы, как я заметил вскоре, изнуряли одинаково сильно и художника и натуру. Для Вадима ничего не существовало более, кроме этого портрета. Графиня позировала два раза в день, а остальное время отдыхала. Организм ее, как будто потрясаемый какими-то слишком острыми переживаниями, разрушался все более. Она торопила Вадима. Он исхудал, и чем ближе работа подвигалась к концу, тем больше становился он похожим на сумасшедшего. Душевный мир его никогда не отличался равновесием, а теперь был окончательно растревожен!.. Графиня спешно заказала раму для портрета и ящик для упаковки его. Когда Вадим узнал, что портрет куда-то отправляют, он пришел в ужас. В эту ночь я его не отпустил домой и оставил в своем кабинете. Он был возбужден и говорил многое, что в другое время не поведал бы никому. Меня уже начинала сердить вся эта история с портретом.

— Хотите, я вам скажу, что я должен изобразить на портрете графини? — спросил меня внезапно Вадим.

И прежде, чем я ответил ему, им овладел припадок смеха. Такой хохот я наблюдал только в палатах душевнобольных.

Оправившись, Вадим сказал:

— Я должен придать лицу графини на портрете, по тексту нашего условия, выражение нежное и страстное.

Как только он это сказал, лоб его насунился, губы задрожали, он готов был разрыдаться.

— Я понимаю, — сказал он, — графиня хочет отправить портрет кому-то, кого любила, и весь этот заказ не что иное, как развязка любовного приключения в старинном духе. Но, понимаете ли вы, я не могу расстаться с портретом. Он мне нужнее, я в нем поборол форму. Да! Я исполнил ее желание. Я нарисовал это чудовище с нежным и страстным выражением. Если у меня отнимут портрет, я брошу живопись, потому что для меня будут потеряны все пути. Я не отдам портрет, не отдам!

Он стукнул кулаком по маленькому столику, около которого стоял. Несколько камешков инкрустации выскочили и упали на пол. Раздалось три мелодических звонка: так

меня звали к графине. Я был, как всегда, в белом халате, и тотчас вышел. Графиня обнаружила беспокойство. Ей, как бывало это часто, показалось, что она умирает. Она велела открыть мне портрет и, не смотря на него, сожалела, что он еще не окончен вполне.

Я имел неосторожность сказать, что художник здесь. Она тотчас пожелала позировать. Потом она сказала мне, показывая какой-то конверт голубого цвета:

— На случай нежелательного исхода (так всегда она говорила о своей смерти) вот письмо, — по этому же адресу я прошу вас отправить и портрет.

Я молча поклонился и привел ей Вадима.

Минут двадцать я провел у себя в кабинете, перебирая народные песни своей записи. Вдруг ко мне вошел лакей и с обычным видом доложил:

— Графиня скончалась!

Я бросился к ней. Мольберт был пуст. Вадима не было. Графиня лежала на постели, как будто отброшенная сильным ударом. В одной руке ее, судорожно сжатой, виднелись обрывки того голубого конверта, который она мне показывала. Тело ее еще не остыло. Я констатировал смерть от кровоизлияния в мозг — это был тот конец, которого я ожидал. Мои обязанности были окончены, я переехал на свою квартиру.

На другой день я пошел к Вадиму. Он не пустил меня в свою комнату, мы переговаривались через дверь. Он сознался, что портрет у него, но не показал мне его, несмотря на все мои просьбы. Я рассердился и ушел, решив забыть о всем этом.

Прошло полгода. Вдруг ночью меня вызывают по телефону в дом графини. Я еду со странными предчувствиями. Молчаливый, полутемный зал перед комнатой графини — все тот же. Я вхожу в комнату, в ней все по-прежнему. На полу сидит человек, связанный полотенцами по рукам и ногам, волосы закрывают его лицо. Он бьется и кричит. Перед ним, на мольберте, портрет, которого я еще не видал.

Я не могу сказать, что было страшнее: то ли, когда я в связанном душевнобольном узнал Вадима, ИЛИ то, когда я



увидел графиню на портрете. Но обязанности врача заслонили все остальное. Вадим меня не узнал. В карете скорой помощи я его отвез в больницу. Около двух лет провел он там...

Я до сих пор не вполне отчетливо знаю, что случилось. Мне удалось установить следующие факты. После смерти графини Вадим работал вдохновенно и все, что он создал, — он создал в это время. Месяцев через пять вернулся из поездки в Индию сын графини. Он узнал о существовании

портрета. Вадим отказался продать его. Через некоторое время мансарда Вадима сгорела в его отсутствие. Осталось только то, что он успел продать из своих картин. Несомненно, что тут был поджог: портрет, как вы уже знаете, оказался в комнате графини. Вадим пришел туда, я думаю, желая восстановить свои переживания.

История его душевной болезни свелась к борьбе художника с человеком. Он был здоров — он и сейчас отлично хозяйничает в своем имении — тогда, когда забывал про существование живописи. Но один вид красок или палитры делал его сумасшедшим. За эти двадцать лет были четыре острых приступа болезни и несколько слабых. Но, к счастью, *lucida intervalla*, то есть промежутки здорового сознания, делаются все длиннее. Я не рассказываю, как я вылечил Вадима — это тема нового моего специального исследования — скажу только, что все лечение сводилось к одному, чтобы Вадим перестал быть художником. И еще скажу, что курс его лечения, хотя и увенчался успехом, но был труден беспримерно. По-видимому, черты, присущие художнику, свойственны самой человеческой природе...

Когда доктор кончил свой рассказ, кто-то спросил:

— А что же было в голубом конверте?

— Я не знаю, что именно, — ответил доктор, — но это был любопытнейший человеческий документ: любовное признание полутрупа. Наверное, оно было не менее ужасно, чем выражение лица на портрете.

В ЗАМКЕ КОРОЛЕВЫ КАРИН

Илл. Р. О'Коннель



I

По-фински? Нет, по-фински, конечно, он ни слова не понимает. По-шведски? В шведской книге он поймет несколько слов с общеевропейскими корнями, но в разговоре — ни одного!

Все-таки, надо было объясниться.

Они стояли друг перед другом под воротами старинного замка: низкий, коренастый, старый, как дуб, и красный, как ржавое железо, финн, смотритель замка, и Алексей Алексеевич Алов или Атруа, как он подписывался иногда, русский художник, влюбленный в старину, живущий в прошлом, а в настоящем ничего, кроме красок, не замечающий...

Финн медленно, со вкусом, произносил таинственные, певучие слова. Атруа-Алов в отчаянии смотрел на него.

В сущности, узнать ему надо было не так много: в какие часы открыт замок, можно ли в его музеях рисовать и есть ли каталоги.

Может быть, на эти именно вопросы финн и отвечал, и только вследствие природной медлительности и радости, что явился посетитель, его речь была такой длинной. Со связкой тяжелых ключей в руках, с седыми, развевающимися из-под шапки волосами, похож он был на управителя замка, встречающего своего короля. Так казалось Алову, а в самом себе он с удовольствием видел короля, возвращающегося домой. Он был взволнован видом замка, он уже любил его, еще не вступив под его своды.

При впадении реки в море стоял замок, на краю древнего города Турку. Причудливые островки были разбросаны перед ним. Прямо к морю, откуда когда-то приходили враги на расписных кораблях под огненными парусами, обращены были его отвесные, белые стены с неприступными башнями по углам. Мощной скалой казался он, а не людской постройкой. Как горные щели, чернели в его стенах бойницы. Не одно поколение королей сооружало его, увеличивая и укрепляя. Не раз погибали вражьи рати под его стенами, не раз и вторгались они внутрь. Все претерпели и все запомнили былые, седые стены, и вековой мудростью веяло от них.

Алов много слышал про замок Турку, и действительность превзошла его ожидания.

Из-под ворот, где они стояли, открывался вид на первый двор замка. Здания поздней, сравнительно, пристройки, с красивыми квадратными окнами окружали его. Прямо против ворот высилась стена с древними железными дверями. Синева солнечного дня и сказочная тишина шхер окружали замок. Алов нетерпеливо ждал, когда старик впустит его дальше.

Наконец, смотритель звякнул ключами и торжественным жестом пригласил Алова идти за собою.

Они вошли во двор. Старик открыл маленькую дверь.

Многовековой сыростью пахнуло из-под сводов. Звонко зазвенели шаги по каменной лестнице. Старик открыл ветхую конторку, достал оттуда билеты и каталоги, продал Алову, все спрятал назад, поклонился, показал рукой, куда идти, и ушел. Алов остался один. Радость охватила его. Внизу звякнули опять шаги старика, хлопнула тяжелая дверь и все смолкло. Алов был совершенно один, окруженный стариной. Он поглядел в тусклое зеркало и не узнал своего лица. Сделал несколько робких шагов. Сердце его сильно билось. Перед ним открывался ряд комнат. В висках у него стучало. «Много выпил пунша!» — подумал он. — «А может быть, это души прежних жителей замка здесь уцелели?» — промелькнула у него мысль. «Какие глупости!» — решил он и пошел, преувеличенно стуча сапогами.

В первых комнатах, с маленькими окнами в решетках, стояли кареты, коляски, лежали колеса, упряжь. Алов прошел их быстро. В следующих он почувствовал, что едва владеет собою: они наполнены были высокими стеклянными шкапами, и в этих шкафах стояли прекрасные, старой работы, восковые куклы в старинных платьях. На розовых их лицах застыла любезная придворная улыбка. Они стояли попарно, кавалер с дамой. Их костюмы были очаровательны. Разноцветный шелк и бархат, яркие ленты, как паутина, тонкие кружева, причудливые туфли, невероятные пуговицы — все это могло бы доставить Алову истинное наслаждение, если б не страх, который сковал его, как только он переступил порог первой из этих комнат.

Шкафы были сквозные, стекла только по углам скреплены узкими рамами, и каждая комната казалась наполненной нарядной толпой. Из-за того, что всем куклам приданы были живые движения, казалось, что толпа движется, танцует. Неяркий свет усиливал это впечатление.

Алов боялся заглянуть в глаза куклам, остановиться взглядом на улыбающихся их губах.

Осторожно, по стенке, шел он из комнаты в комнату, все время думал о дороге назад. Малейший шорох или отзвук стекол заставлял его вздрагивать в ужасе. Почти пыткой было для него это путешествие по комнатам, и все же

он не мог оторваться от него. Иногда, привлеченный какой-нибудь деталью костюма, он забывал про свой страх, и снова подчинялся ему, как только окидывал глазами всю комнату.

Вдруг ему послышались шаги в соседней комнате.

Он прилип к каменному полу.

Там что-то звякнуло.

Он припал лицом к стеклу, вглядываясь в ряды кукол. Сердце его замерло: он увидел движение между кукол, как будто какая-то из них подняла руку. И опять! Он закричал бы, но голоса не было. Шаги приблизились. Он бросился к стене, где была дверь. Теперь уж ясно он видел сквозь стекло, что сюда идет одна из кукол...

Дикими прыжками, стучаясь и задевая, помчался он назад, к выходу, по лестнице, мелькнул в зеркале, и только, когда услышал, как хлопнула за ним дверь, остановился, едва переводя дыханье.

В той комнате, из которой он убежал, весело смеялась молоденькая, розовая, как кукла, девушка со светло-голубыми глазами, в старинной кофте, надетой поверх обыкновенного платья.

II

Через несколько минут Алов лежал в кресле-качалке у себя в комнате, которую он снял тут же, на краю города, рядом с замком. Белые стены башни были видны ему в окно. Алов искоса поглядывал па них, сердясь на свою трусость и на финское нелюбопытство, из-за которого он в большом городе оказался единственным посетителем национального музея.

«А все-таки кукла шла, ведь я видел!» — вспоминал он, и книга выпадала у него из рук.

Это был каталог на шведском и финском языках, довольно толстый. Имена собственные были все понятны, но и только. Чаще других попадались имена Карин и Эрика XIV.



Алов решил, что это их замок, что они главные герои его стен — эта Карин и Эрик XIV, король и королева.

Ах, если б что-нибудь узнать про них!

— Карин, Карин, Карин! — твердил Алов. — Королева Карин, ну как же мне узнать что-нибудь про тебя? Я видел платья твоих придворных дам, а про тебя ничего не знаю! Может быть, ожившая кукла — это и была ты сама, а я решительно ничего про тебя не знаю!

Он поднимал каталог и начинал вчитываться в непонятные слова. Да, Карин была королевой, а Эрик XIV, ее муж — королем. Что ж еще было?

Алов бросил каталог на стол, оделся и вышел на улицу. Это была длинная, версты в три улица, с одноэтажными деревянными домами по обе стороны, потом с огромными фабриками. Маленькие вагоны трамвая весело бежали по ней. Алов сел в один из них и полетел в город.

В городе, над рекой, той самой, при устье которой стоял замок, высился древний с закоптелыми стенами собор. Как два великана, собор и замок вздымались над веселым новым городом и перекликались с верхушек своих башен на никому из людей не слышном языке веков. Черный собор и белый замок были большими друзьями. В белом замке жила королева Карин. В черном соборе нашла она себе последний приют. Когда звонили в большой колокол черного собора, стены белого замка плакали. Черный собор и белый замок вдвоем жили в небе над городом.

Алов пришел в собор.

В одной из часовен ему показали могилу королевы Карин. На ней были написаны стихи. Ничего не понять. Грустно постоял Алов в соборе, в каменной его тишине.

Потом долго бродил по городу, по шумным улицам центра, по тихим переулкам окраин, заходил в кафе, обедал и к вечеру вернулся домой. В его комнате была уже раздвинута складная кровать и стояло молоко.

Он быстро заснул.

И снились ему сны, давняя правда.

Где-то в лесу старая деревня.

Бедная, чистая изба. Из нее выбегает девушка-ребенок. Золотая у нее коса. Светло-голубые глаза, темно-золотистые высокие брови. Умный лобик. Алые губы. Стройниенькая она, ловкая. Висит у нее корзиночка на руке.

Под окном сидит старуха в белом чепчике. Кричит старуха, отрываясь от длинных спиц:

— Куда ты, Карин?

— За орехами в лес.

Бежит Карин, поет Карин:

Я орехов нарву,
Поделю пополам.
Рыжей белке в лесу
Половину отдам.
Половину свою
Пополам поделю.
Четверть мне, четверть ей, —
Няне нищих детей.
Четвертушку свою
Я опять поделю,
Я осьмушку отдам,
Я осьмушку возьму
И опять поделю,
Чтоб хватило на всех.
Свой последний орех
Я сама раскушу,
Счастье выну свое —
Вот где счастье мое!

Раннее утро. Карин бежит на базар с орехами, становится на самом краю, ждет, кто купит. Никому не нужны орехи, всякий сам себе нарвать может. Никто не купит у Карин орехов. Что ж Карин будет есть?

Вдруг трубят рога, летят псы сворами. Люто лают королевские псы, хватают народ. Дрожит народ. На белом коне едет король Эрик. Борода у него рыжая, как свежая ржавчина, вьется борода по ветру. Тринадцать было у народа Эриков, ни одного не было такого бородатого, такого страшного. Жутко жить под Эриком. Кого захочет, того возьмет.

Кого возьмет, того убьет. В страхе ждет короля народ. На самом краю стоит Карин с корзинкой орехов. Золотая у нее коса, светло-синие глаза.

Подъезжает король, увидел девочку, осадил коня.

— Купи, король, орехов! — говорит Карин, поднимая на него глаза.

— Иди за мной! — говорит король, — в замке куплю!

Задохнулся Эрик, увидав ребенка.

Белые стены встречают Карин. Дрожит она, проходя под воротами.

И летит весть по народу:

— Карин королева! Королева Карин!

Ангел пришел в замок. Меньше крови видят стены. Молится народ за ребенка-королеву. Цветами кидают в нее, когда она выходит из замка. Целуют землю, где она прошла. Добрая королева Карин!

Но у Эрика есть брат.

Он идет на брата.

Осажден замок. Кипяток и свинец льются на осаждающих. Но Бог не хочет помочь Эрику. Брат побеждает его. И Эрик в оковах, на цепи, сидит в своем же замке. Грубые воины издеваются над ним. Но с ним его ангел, его Карин. Зовет смерть к себе Эрик. И приходит смерть. Карин идет к победителю-брату, просит отпустить ее в ее деревню. И вот в деревне она. Старый лес встречает ее. Плачет Карин и поет:

Вот где счастье мое!
Счастья нет на земле,
Счастье в тихой земле,
Там в могиле моей.
Ты меня упокой,
Счастье, тихой землей!
Тишиною овей,
Вековечный покой!

И шумит над ней ореховый лес.

Новый король пирует в белом замке.

В черном соборе готовят могилу. Плачут в народе: умер-

ла королева Карин, умерла наша Карин. Девушкой была, орехи собирала; королевой стала, счастья не нашла. Резчики вырезают песню на гробнице. Девушки несут венки.

Не забудут королевы Карин.

Тело Карин в гробнице, а душа ее осталась в людях.

III

Каждый день в три часа старый смотритель замка берет звонок и идет по залам, тихо дребезжа. Тридцать комнат второго этажа и тридцать комнат третьего, тихим шагом обходит он в час. Он знает каждую вещь, каждый стул, каждый портрет. Иногда с ним идет его старая жена. В это время нижний этаж, где куклы, обегает его дочка, Карин. Она тоже знает всех кукол, любит забираться к ним в стеклянные клетки, любит снимать с них старые наряды и примерять на себя. Ей пятнадцать лет. Она прошла начальную школу. Дальше учиться родители не позволяют.

Карин лентяйка, и ей не очень хочется учиться. Но ей очень хочется рисовать. Она часами простаивает перед старыми портретами, разглядывая, как что нарисовано. Она сама тайком рисует на книгах, на столах, на стенах и на бумаге, когда ее достанет. Отец недоволен, что она рисует. Он хочет подождать еще год или два и выдать ее замуж за хорошего человека, которому можно передать вместе с ней и место смотрителя замка. Редкое место, не всякому передать можно.

Сумерки.

Старики только что вернулись с осмотра. Прибежала и Карин. Глаза у нее посинели, щеки горят. На шее ожерелье — забыла снять.

— Что это? — говорит старик и снимает с нее корявыми, непослушными пальцами ожерелье, заворачивает его в платок, прячет.

Теперь на весь вечер затянется разговор.

Пыхтя трубкой над чашкой кофе, говорит старик:

— Опять наряжалась? Королевские вещи тревожишь! Сам видел, как на себя платье примеряла! Да ведь ткань разорваться может. Что я буду тогда делать? Нищим буду? Смотритель приедет и прогонит меня отсюда.

— Мне скучно, — говорит Карин, — отдай меня в школу учиться рисовать.

— Ты забыла, где школа.

— Где? В городе, в Турку.

— А до города сколько километров?

— Трамвай есть.

— Трамвай даром не возит. Десять пенни туда, десять пенни обратно, двадцать пенни в день тратить надо; за каких-нибудь пять дней целую марку тратить! Вот чего ты хочешь! Рисование для богатых людей, которые могут марками швыряться!

— Ну, я буду пешком ходить. Ты только позволи. Меня в школу примут даром.

— Пешком? А сапоги тебе будут выдавать из школы? В школу и обратно — ведь это не меньше семи километров! Ты будешь снашивать сапоги быстро, как почтальон!

Карин грустно опускает золотую головку. Такие разговоры часто бывают у нее с отцом. И видит Карин, что не бывать ей в рисовальной школе. Несчастливая она!

Она смотрит в окно, видит стены замка, считает окна. Мрачен замок в сумерки. Но Карин не боится. Она любит замок и его королеву. Ей кажется, что, если бы она жила при королеве Карин, она была бы счастливой, она могла бы научиться рисовать. У королевы Карин были отличные художники, это по ее портретам видно.

— В пять дней — марка, — думает Карин, — в году триста шестьдесят пять дней, значит, если каждый день ездить в школу, нужно семьдесят три марки, да сапоги еще. Всего сто марок нужно! Большие деньги!

Отец задремал у печки.

Карин достает свои рисунки, перебирает их. Вот замок летом, вот зимой. А вот и королева Карин. Всего только тремя карандашами срисовано с большого портрета, а хорошо вышло! Какие у нее добрые глаза! И рот чуть-чуть не улы-

бается. На шее крестик. Чепчик весь в кружевах, но очень смешной. А воротник еще смешнее. Надо пойти завтра наверх к королеве в гости, посмотреть на нее, на ее вещи, на ее кровать, на ее шкафчик.

Карин счастлива, что у нее имя одинаковое с королевой.

Но как достать сто марок?

В прошлом году какой-то иностранец давал отцу сто марок за одну вещь, совсем маленькую, незаметную, которой и в каталоге нет.

Однажды спускалась королева Карин по лестнице, и было, должно быть, темно, потому что упала королева и вышибла себе зубок. Маленький, беленький, острый, как у белки, зубок. Он сохранился и лежит в витрине на кусочке черного бархата. Вот его-то и хотел купить иностранец.

Отец тогда очень рассердился. Нельзя, конечно, продавать зуб своей королевы.

Но откуда же достать сто марок?

Если ходить через день в школу, то нужно только пятьдесят марок, а если ходить на каждый третий день, что не так уж плохо, то хватит и двадцати пяти. Но ведь и двадцати пяти не достать, не достать, не достать!

Карин вышла погулять.

Человек, которого она напугала в комнате кукол, стоял и писал картину. Замок, наверно. Вот счастливый! Только он не с того места писал, откуда надо. Если бы он спросил Карин, она ему сказала бы, откуда самый красивый вид на замок.

IV

Алов не выходил из замка.

Он изучил все эти комнаты, заставленные веселой старинной мебелью, увешанные портретами королей и королев, которые в них жили. Он сделал очень много этюдов, и страх совершенно покинул его. Ему и теперь иногда слыша-

лись шаги в соседних комнатах, но он уже не бежал, как в первый раз, а оборачивался, улыбаясь.

Он уже понимал чуть-чуть по-шведски и по-фински и понемногу расшифровывал каталог.

Чаще всего работал он в комнате, где висел большой портрет королевы Карин. Ему нравилось ее открытое лицо с высоким лбом, большими голубыми глазами и капризным, красивым ртом. Правый глаз ее едва заметно косил, и это придавало портрету странную живость. Алов подумал, не нарочно ли это сделал тогдашний художник. Ясными умными глазами смотрела на него королева Карин. Он знал уже ее судьбу в кратких словах, которые были написаны на ее могиле: в книжном магазине он нашел перевод стихов. Он немного был влюблен в нее, как могут влюбляться только художники в портреты и статуи. Ему очень хотелось бы увезти память о портрете, но копировать он никогда себе не позволял, а фотографий портрета не было. Каждое утро, приходя в музей, он подходил к портрету и здоровался с королевой и, уходя, прощался. В одной из витрин, среди ее вещей, — вееров, перчаток, крестиков и колец, — он заметил остренький, маленький зуб — крепкий, молодой, изящный, как у хорошего зверька. Ему мучительно захотелось взять его в руки, положить на ладонь, уколоть себя им. В тот день он сделал один из лучших этюдов.

Другая Карин, дочь смотрителя, ходила по пятам за художником. Прячась в складках портьер, между шкафов, за дверями, она с затаенным дыханием наблюдала его работу. Много раз ей хотелось выйти к нему, но она боялась, что он испугается и испортит свою картину. Ей нравилось, что он любит королеву Карин, ее королеву. Он и сам ей нравился, высокий, с черной бородкой и длинными волосами.

Нельзя не чувствовать живого человека сзади себя, даже если его и не видишь. Алов чувствовал, что он не один в этих пустых старых комнатах. То вздох, то стук, то шелест часто слышал он за собою. «Это хозяйка ходит, королева Карин!» — подумал он, и от этой мысли еще лучше становились его рисунки. Они дышали стариной, тосковали по ней, возвращали к ней.

Уж были зарисованы все лучшие комнаты, и видела другая Карин, дочь зрителя, что художник скоро кончит свою работу и уедет. И она никогда больше его не увидит. А он был первый человек, который любил замок так же, как она сама. Ее тянуло к нему. Она сама не знала, зачем, но знала, что будет по нем скучать, когда он уедет, и плакать, как по разбитой кукле в недавнем детстве.

«Королева Карин, помоги!» — думала она, — а чему, сама не знала.

Живыми, добрыми глазами смотрела королева на нее.

И вот, как по наитию, схватила она свои рисунки, принесла их и положила под портретом королевы, на резном столике.

Сама притаилась за высокой спинкой кровати, в углу.

Алов пришел и удивленно стал рассматривать рисунки. Он видел в них талант. Иные зарисовки замка были сделаны так, как и ему не приходило в голову. Копия же портрета королевы поразила его. Он схватил его в руки и сравнивал с оригиналом. Выражение косящих глаз было схвачено удивительно.

В это время Карин, не вытерпев, поднялась из засады. Спинка кровати хрустнула, Алов обернулся и вскрикнул. Сама королева Карин выходила к нему: те же золотые волосы, те же голубые, умные глаза, тот же нежно-розовый цвет лица.

— Карин! — воскликнул он.

— Карин! — утвердительно кивнула головой девушка, удивляясь, что он знает ее имя.

Алов оглядывал девушку. Красная кофта ее, грубые сапоги отрезвили его. Сходство ее с королевой казалось ему уже не таким поразительным. Но одно чудо сменялось другим: рисунки были сделаны этой девушкой.

Алов не выпускал портрета из рук. Первое, что ему захотелось сделать, когда он опомнился, это купить портрет, чтобы можно было увезти его с собой и никогда с ним не расставаться. Он вынул сто марок и знаками предложил обменяться. Карин вспыхнула. Как? Ее рисунок стоит сто марок? Она сделала отрицательный жест. Тогда Алов, боясь,

что она не отдаст рисунка, прижал его к сердцу, поцеловал его кончик и вынул еще деньги. Красная Карин, как во сне, взяла сто марок. Алов был в восторге. Теперь он увезет королеву Карин с собой, она всегда будет с ним! Но что это за девушка? Перебирая рисунки, он стал с ней кое-как объясняться. Потом она повела его к витрине, где лежал зуб королевы Карин, достала его и дала в руки Алову — ключ был у нее. Художник испытал странное чувство. Потом Карин повела его в ту часть замка, где он никогда не был. Она показала ему разрушенные залы, где справлялись пиры; комнату, которая служила темницей Эрику. Замок ожил в глазах Алова; он зазвучал, наполнился гулом. И все это сделала девушка-ребенок с золотыми косами.

Они подружились, художник и Карин. Взявшись за руки, как дети, обошли они весь замок.

К вечеру Алов поехал в город. Турку славится рамочными мастерскими. В одной из них Алов выбрал ореховую рамку для портрета королевы Карин.

И даже на сутки, которые были нужны для того, чтобы оправить портрет в рамку, жалко было ему с ним расстаться.

V

— Ты куда собираешься?

— В школу.

— В какую школу?

— Рисовальную.

— Я не дам тебе не пенуи.

— У меня есть сто марок.

Старик даже трубку выронил изо рта от изумления.

— Откуда ты взяла?

— Я продала один свой рисунок.

— За сто марок? Кому?

— Художнику, который сюда ходит.

Старик в волнении прошелся по комнате. Возражать ему больше было нечего. Да и не худое дело рисование, если

так, ни за что, ни про что, можно получить сразу сто марок!

Карин быстро собралась и убежала. В кармане у нее звенело целое богатство: три серебряных марки и мелочи — сколько, она не знала. Это дал отец в обмен на сто марок, которые, конечно, надо было спрятать.

Тщетно Алов ходил по замку, ища златокудрую вчерашнюю свою спутницу. Тщетно ждал ее на следующий день. Карин с утра до вечера рисовала в школе.

Огорченный, Алов даже не замечал, что смотритель здороваается и прощается с ним необычайно почтительно.

Кончив работу, он уехал, увозя с собой портрет королевы Карин и не зная, у девушки или у видения купил он его.

Королева Карин осталась опять одна в своем замке.

У другой Карин не было даже времени забежать к королеве: она рисовала успешно и упорно.

Как два великана, черный собор и белый замок по-прежнему высились над городом и перекликались между собой никому неслышным голосом веков. Вечным сном в своей гробнице спала королева Карин.



ГОЛУБАЯ ВУАЛЬ

Илл. И. Гранди



I

Во всяком городе можно быть счастливым, но нигде счастье не бывает таким полным и беззастенчивым, как в Венеции.

Отошли в вечность вопли и вздохи страдальцев, замученных в каменных подземельях или задохшихся в свинцовых чердаках дворца Дожей. Но привычка к пышной праздности, к бесконечным наслаждениям осталась в воздухе, в дивном истомленном страстью небе, в зачарованных каналах и дворцах и в черной гондоле, — этой колыбели приключений.

И мудро делают влюбленные, слетаясь сюда со всех концов света сжигать дни любви...

II

Весенним вечером, когда цвет неба заметно зеленеет, а лагуна так тиха, как само же это зеленое небо, высокий гондольер ловко и быстро подвел гондолу к набережной.

Из нее вышли двое.

Женщина пугливо прижималась к мужчине, как бы ища у него защиты, и беспокойно оглядывалась.

Она была очень молода и красива, той чистой красотой, которая еще родится в глуши России, в последних дворянских гнездах.

Глаза у нее были почти синие, а от испуга они налились темнотой и казались огромными. Овал лица был еще девически, если не детски, мягок. Небольшой тонкогубый рот был полуоткрыт, как у напуганного ребенка.

Черно-синий бархат ее костюма подчеркивал бледность ее щек и маленьких рук, теребивших шнуры венецианского ридикюля.

Ее спутник, слегка склоняясь к ней большим своим телом, видимо, старался ее успокоить. Но на его открытом загорелом лице можно было заметить тревогу.

Он был в просторном, легком пальто и правую руку держал в кармане. Под тканью пальто отчетливо намечался контур револьвера.

Сезон еще не начинался, на Пьяццале было пустынно.

Они быстро, почти бегом, прошли между колонн и пошли дальше, не подымал глаз на кружевной дворец Дожей.

Дойдя до св. Марка, они оба обернулись к лагуне.

— Я вижу его гондолу! Сейчас причалит! — почти в ужасе воскликнула женщина, сжимая руку своего спутника.

И мимо св. Марка, не глядя на его мозаики, они еще быстрее пустились дальше.

Какая-то англичанка приготовилась позировать фотографу, окруженная голубями.

Они спугнули всю стаю. Англичанка сделала гримасу.

— *Russi!* Русские! — пожал плечами итальянец-фотограф и театральным жестом рассыпал корм, чтобы голуби опять слетелись.

Под Башней Часов они еще на минуту остановились и тотчас смешались с толпой в узкой улице.

Перейдя несколько высоких мостиков, ежеминутно сворачивая в сторону, куда попало, они пришли в глухой квартал. Улицы стали грязными коридорами, в которых не было ни магазинов, ни международной толпы. Нередко попадались навстречу или стояли в дверях своих жилищ ве-



нецианцы. Шел старик в плаще. Грязные дети со спутанными волосами протягивали ручонки. Оборванный художник набрасывал этюд. Воздух был спертый, тяжелый. Шаги звенели, как в пустой церкви. Из каналов, из всех углов пахло сыростью. Из маленьких тратторий — вином, сыром и кипящим маслом.

Вдруг улица-коридор вывела на небольшую площадь. Посреди нее был оправленный мрамором источник. Чернокожая девочка, красиво сложив руки, смотрела, как прозрачная струя лилась в ее кувшин. Кроме нее, никого на всей площади не было. Прекрасный скульптурный фасад старой церкви подымался мрачно и величественно. Позеленевшие двери были наглухо закрыты. Около двери стояла стертая мраморная скамья с головами дремлющих львов на ножках. Дома вокруг стояли, как мертвые. Большая мраморная доска была вделана в стену одного из них, чтобы возвещать громко название площади крупными буквами. Тишина была здесь такая, как в самом дальнем зале давно опустевшего дворца. Вверху разливалось зеленоватое небо, внизу струя воды звенела, и девочка стояла над ней, как статуя.

Вот вода наполнила ее кувшин, она гибко наклонилась, подняла на плечо и ушла, как серна в свой лес.

Стало совсем пустынно.

— Здесь ты не будешь бояться, родная моя? Сядем на скамейку: смотри, какие львы!

— Здесь так хорошо! Здесь не страшно...

— Я ведь уверен, что тебе показалось, что ничего не было. Ты только заразила меня своим страхом.

— Нет! Это был он, это был он! Я слышала, как он сказал своему гондольеру: «Скорее, мерзавец!» Он всегда бранит слуг этим словом. И это был его голос. А когда его гондола настигла нас, я сквозь свою вуаль увидела его лицо. Ведь я же знаю эти глаза, эту бороду! Он был бледен от гнева, как в последнюю ночь, которую я провела дома.

— Мария, родная моя! Все равно, если даже это был он, успокойся, — я не отдам тебя, я защищу тебя. Ведь смог же я отнять тебя у него, это было гораздо труднее. А теперь,

когда я узнал тебя, когда только начинается наше счастье, я буду защищать тебя. Как этот лев! Смотри: он дремлет, но сколько силы в нем, сколько смелости и осторожности...

— Александр! Я люблю тебя, я верю тебе. Ты мой защитник, ты мой спаситель. Но отчего же сердце мое полно тревогой, я дрожу от предчувствий скорой гибели... Уедем сейчас, бежим отсюда... Пока он здесь, у меня не будет минуты покоя. Он до сентиментализма нежен, но и жесток, как зверь. Бежим отсюда!

— Как, опять? Ведь мы вчера только приехали, еще ничего не видели... И потом, разве ты не устала от этой скачки? Из Рима мы бежали, из Флоренции мы бежали... И куда же теперь бежать?

— В горы! Увези меня в горы, в дикое место.

— В Европе нет дикого места.

— Поедем в море, на Корсику...

— Он сядет на тот же пароход. Он хитер, и у него шпионы. Но, конечно, если ты хочешь, мы завтра же уедем отсюда.

— Сегодня, сейчас...

— Это невозможно, Мария. Тебе надо отдохнуть, успокоиться.

— Если он здесь, он уже знает, где мы остановились.

— Я защищу тебя.

— Ты не покинешь меня ни на минуту?

— Ни на мгновенье!

— Милый мой, любимый мой...

Она положила голову свою ему на грудь, вздохнула сначала устало, потом счастливо. Закрыла глаза, открыла их и подняла на него. В синеве ее зрачков сияло счастье. Небо, отражаясь в них, делало их еще более лучистыми.

Сумерки клубились в углублениях мрамора на фасаде собора. Фигуры святых стали сосредоточеннее и живее. Звери насторожились, готовые зашевелиться. Издалека пробили мелодичные часы. Вода журчала, не умолкая. В глубине переулков показались желтые огни, кое-где зажглись и окна. Прибежал фонарщик с лестницей, зажег фонарь в углу площади, и сразу стало темно в других ее углах. Небо пок-

рылось густой сине-зеленой краской. На мраморной скамье у старой церкви поцеловались.



- Ты меня любишь? Ты меня никому не отдашь?
- Никому не отдам...
- Как ты крепко обнимаешь... Мне даже становится не страшно. И... смерти не отдашь?
- И смерти не отдам!

— Так обними же еще крепче. С тобой я ничего не боюсь. Я всегда буду с тобой!

Целуясь, они поднялись и долго стояли, не расплетая рук, в тени церкви. Вверху зажглись яркие, круглые звезды.

— Пойдем!

— Постой, я только этого льва поцелую.

И, соскользнув на каменные плиты, она поцеловала мраморного льва в полураскрытую пасть, еще не успевшую остыть от дневного солнца. Ей показалось, что зверьдохнул на нее своим звериным теплом.

Потом, под руку, они пошли наугад в темную щель улицы. Редкие фонари со стен освещали их путь. Вода в каналах была черная и страшная. Проблуждав довольно долго, они вышли на сильно освещенную и многолюдную улицу. Вечерняя толпа была наэлектризована жаждой страсти и приключений. Всюду мелькали горящие глаза, возбужденные лица.

Александр и Мария шли, близко прижавшись друг к другу. Они забывали про свои страхи и заражались общим счастьем. Улица привела их на площадь. Посреди ее играл оркестр. Итальянцы слушали, не роняя ни одного звука. Под арками гудела толпа. Черные, с длинной бахромой, шали венецианок делали ее торжественной и своеобразной.

Мария влекла Александра домой, в свою гостиницу. Эта гостиница была вблизи площади, на шумной улице и канале. В их комнату был вход с канала, через маленькую старинную дверь. Им хотелось скорее остаться вдвоем. Быстро подойдя к двери, они не заметили ни гондолы, притаившейся под мостом, ни зорких глаз, следивших за ними с моста. Александр дернул ручку звонка. Он не звонил.

Мария постучала железным кольцом в дверь. Не открывая. Тогда Александр зашел за угол, к главному подъезду, бывшему в нескольких шагах от их двери. Прошла минута или две, пока он позвал портье и велел отворить. Когда он вернулся, Марии не было. Она исчезла бесследно.

III

Не веря глазам, он бросился к двери, думая, что Мария вошла уже. Дверь была закрыта, как и раньше, ее еще не успели отпереть. Набережная, где он стоял, была шириной в три шага, длиной не больше сажени. Одним концом она упиралась в стену, другой выходил на улицу. С одной стороны ее была гостиница, с другой решетка канала с лесенкой к воде.

В первое мгновение Александр подумал, что Мария упала в воду. Но тотчас ему стало ясно, что это не могло бы пройти незамеченным на таком многолюдном месте.

Портье, отворивший, наконец, дверь, ничего не мог ему сказать. У Александра было движение броситься к людям, снующим взад и вперед по мостику, но их поток переменялся в эти одну или две минуты несколько раз.

Он похолодел от чувства безысходного ужаса. Ему показалось, что он теряет рассудок. Потом, преодолевая себя, он стал думать.

Ничего особенного, сколько-нибудь выдающегося из обычной уличной суеты, здесь не произошло. Иначе в то же мгновение собралась бы толпа.

Мария не могла не сопротивляться. Значит, ее невозможно было, не привлекая внимания, увести по улице.

Оставалось одно: ее похитили на гондоле. Уплыть налево гондола не успела: она была бы видна еще на прямом канале. Значит, она ушла под мостик, за которым канал вскоре поворачивал.

Александр бросился к стоянке гондольеров, тут на углу, стал расспрашивать. Но, плохо понимая язык, мог узнать только одно: что сейчас прошла крытая гондола, которая почему-то сильно качалась, как будто ее хотели перевернуть.

Он поплыл вдогонку. Но на первом же разветвлении каналов терялись все нити. Он поплыл наугад, ежеминутно меняя направления и умоляя грести скорее. Черная вода тяжело плескалась о борта, вздымались дома, то мертвые



и темные, то кишашие людьми в освещенных окнах. Наконец, гондольер отказался продолжать эту погоню.

Александр вышел, сделал несколько шагов, прислонился к стене. Его толкнули. Он тихо пошел, куда вела его улица. Внутри него была странная тишина. Он еще не поверил, что Марии нет с ним. Он еще чувствовал ее руку в своей руке, ее плечо у своей груди. И боялся малейшим движением души или тела спугнуть это ощущение памяти и тем приблизить страшную минуту, когда он должен будет осознать, что Марии с ним нет.

Совсем стемнело. Редкие встречные пугали, как призраки. Скудный свет ложился пятнами на камни. Александр шел шатаясь, почти без памяти. Мгновениями ему начинало казаться, что Мария тут, с ним, ему стоит только наклонить голову, и он ощутит ее волосы своей щекой, стоит только прислушаться, и он услышит ее голос.

Он останавливался, рука его беспомощно хватала воздух, глаза блуждали, как у безумного. Так он стоял подолгу, не чувствуя времени, пока какой-нибудь звук или толчок прохожего не возвращал ему памяти.

Тогда он хватался за голову и быстрым шагом шел, не зная куда. Каждая тень, всякая фигура, мелькнувшая за углом или вдали, наполняла его сердце трепетом надежды. Он обгонял всех, кто шел впереди, заглядывал в лица, шептал бессвязные слова — слова любви, слова проклятий и угрозы, без конца повторял имя возлюбленной. Иногда, обессилев, он опускался на порог дома и сидел, пока его не сгоняли. Многие принимали его за сумасшедшего, убежавшего из-под надзора врачей.

Внезапно он услышал бой часов. Это пробудило его. Он не думал, что так поздно. Он вдруг понял, что каждая упущенная минута уменьшает надежды найти Марию, и, кидаясь к встречным, стал спрашивать, как пройти к его гостинице.

Через полчаса он был дома.

Тут же, в вестибюле, торопясь и путаясь в словах, рассказал, что случилось. В гостинице всполошились, затрепещал телефон, за кем-то побежали. Александра окружили,

утешали, ему давали советы и обещания, его расспрашивали, с его слов записывали, его интервьюировали и фотографировали. Потом куда-то увезли, опять расспрашивали и наскоро отпустили.

Только к полуночи, измученный и обессиленный, он вошел в свой номер. Везде были раскиданы вещи Марии. Голубая вуаль лежала на постели. Запах ее духов носился в комнате. Александр схватил ее платочек, прижал его к лицу и упал на ковер, потеряв сознание.

Когда он очнулся, было темно. Недоумевая, он приподнялся на ковре.

— Мария! — тихо позвал он.

Никто не ответил ему из темноты.

Он ощупью добрался до постели. Она еще не была открыта.

— Мария! — еще тише позвал он и, все вспомнив, в рыданиях упал на подушки. Еще вчера, ночью, Мария была здесь с ним, ее полосы раскидывались по этому полотну, ее дыхание, ее теплота были в этом воздухе. Заглушая рыдания, он притаился, стараясь вернуть эту ночь, всей силой воли и сознания пытаюсь сплотить в одно все, что осталось в этой комнате от Марии, в ее вещах, на полотне ее постели, в самой темноте. Он терял себя, призывая ее. Лоб его покрылся холодными каплями. Он весь дрожал, а на спине чувствовал как бы мягкие и робкие прикосновения.

— Мария, ты? — скорее подумал, чем произнес он.

И в ту же минуту дикий ужас охватил его. Ему послышался едва уловимый шелест где-то вблизи или, может быть, вздох.

— Мария! — прошептал он и, не будучи в силах сдерживать нахлынувший страх, закричал, но голос изменил ему, издавая звуки, похожие на хрип животного.

Руки его судорожно впивались в подушку и простыню, головы он не смел приподнять, чувствуя что-то сзади, над собой.

В соседней комнате, за стеной, раздались голоса проснувшихся мужчины и женщины.

Александр тотчас оправился от страха. Отер лоб, перевел дыхание.

Темнота его комнаты опять была пуста, как лес, откуда только что спугнули птицу. Еще не луч, а первая серая мгла рассвета просилась в окно.

Александр перешел к дивану, сел на него.

— Что это было? — подумал он.

И жгучий стыд зажег его сердце и щеки.

Если ему все показалось, тогда не стыдно. Но если это была Мария или только дальняя, таинственная и неразгаданная весть от нее, тогда он преступник.

В невыразимом волнении он пытался сосредоточиться, опять собрать свои силы, но все было напрасно. Его мысли блуждали, его воображение то показывало ему Марию в горе и отчаянии, то окрыляло его надеждой, — боль настоящего сменялась воспоминаниями недавнего счастья. Наконец, он заснул от усталости, уронив голову на стол.

Наутро его разбудили стуком в дверь.

Ему сказали, что ночные розыски не дали никаких результатов, но надежда найти синьору не потеряна, и подали газеты.

Александр пробежал их. В каждой было по фантастическому рассказу об его несчастье. В одной был его портрет. В другой иллюстрация изображала похищение. Похищаемая была толстой и в кокошнике. К мучениям Александра прибавилась новая горечь.

IV

Прошло несколько дней. То в корчах отчаянья, то в трепете надежды, Александр не замечал их хода. Для него началась двойственная и страшная жизнь. Одна половина этой жизни была мучительно тяжелая. Целыми часами Александр просиживал в тупом одиночестве, целыми часами сомнамбулически бродил по Венеции. От безысходных мук он покончил бы с собой, если б не было в его жизни

другой половины — светлых мгновений, когда он вдруг начинал чувствовать около себя незримое присутствие Марии.

Тогда все существо его трепетало. Он забывал все внешние чувства, ничего не видел и не слышал, сосредоточиваясь на одном каком-то внутреннем чувстве, похожем и на слух и на зрение, но более утонченном и нежном. Ему также казалось, что тело его неосязуемо растет и распространяется в воздухе и всюду осязает так чутко, как на кончиках пальцев.

Тогда этим как бы вновь сотворенным существом своим он чувствовал Марию, созерцал ее, не видя, наслаждался голосом ее, не слыша, ласкал ее, не осязая. Это было одухотворенней и в то же время живее сна. Ничто из красоты Марии не ускользало от Александра. Даже казалось ему, что он лучше и полнее узнает ее. Раньше он знал ее душу и знал ее тело, теперь он касался Марии, как единой стихии, светлее тела и плотнее души. Если б он мог, он никогда бы не покидал этого блаженного состояния. Но оно налетало на него внезапно, почти помимо воли и, всегда встречая в нем радостную готовность, укреплялось и длилось минутами прекраснее и дольше вечности.

В первый раз это случилось на той площади, где он сидел с Марией под тенью старой церкви. Александр пришел туда случайно и тотчас был охвачен сладчайшим трепетом. Был такой же вечер, та же девочка пришла за водой. Он сел на скамейку со львами и, мертвеця от счастья, почувствовал Марию...

Он пробыл долго на этом таинственном свидании. Очнувшись, ощущал печаль, усталость и примиренность.

Следующий день был томительно-пустым. Вести о розысках приходили одна другой неутешительней. Но Александр принимал их со странной невнимательностью. Он весь был полон внутренним ожиданием.

Он ничего не трогал в своей комнате и не пускал в нее никого, чтоб не потревожить вещей Марии, раскиданных ею самой.



Иногда позволял себе дотронуться до перчатки, взять в руки вуаль, поцеловать платье. Потом сосредоточивался в ожидании.

Он похудел и побледнел, приобрел вид приглядывающегося и насторожившегося человека, стал избегать людных мест и уходить вглубь Венеции, в рабочие кварталы, в переулки, где нет света, на грязные набережные, где ютится беднота, голодная и надменная.

Мгновенные ощущения Марии налетали на него нередко во время блужданий. Тогда он прислонялся к стене или перилам и стоял с закрытыми глазами и болезненно-счастливой улыбкой.

Однажды, очнувшись, он увидел перед собой старенького человека в истертом плаще. На губах его Александр узнал отражение своей улыбки. Лицо старика было измощено, голова тряслась и оборачивалась в сторону, взглядывая на кого-то, кого не было. Руки бегали по слоновому набалдашнику палки. Похож он был на доктора из старинных.

Это было на глухом мостике. В конце канала сияла лагуна.

Несколько минут они стояли молча друг против друга.

Дав Александру прийти в себя, старичок пожевал узкими губами и сказал довольным, несколько визгливым голосом:

— Bene, bene!

Потом быстро спросил по-немецки, понимает ли Александр этот язык.

Александр ответил утвердительно. Ему был приятен старичок. Ему показалось, что от него идут лучи не то теплоты, не то доброты.

— Доктор Альвиссен, — представился старик, — не слышали?

— Нет...

— Ничего, ничего! Все услышат, все узнают. Скажите, с вами часто это бывает?

— Да, — тихо, как на исповеди, ответил Александр, сразу понимая, о чем идет речь.

— Удивительная сила. С вами чудеса можно делать. То есть не чудеса, а то, что считается чудесами в наш, то есть в ваш век.

Он захохотал змеиным смехом. На гладком лице его обнаружили бесчисленные, благообразно расположенные морщинки.



Александр тоже улыбнулся странной улыбкой. Со дня исчезновения Марии он ни с кем еще не говорил душевно.

— У вас несчастье?

— Да.

— Несчастье всегда источник новой жизни!

— Правда?— спросил Александр, загораясь надеждой.

— Человеческая правда! — ответил доктор Альвиссен.

Они вышли к лагуне. Неподвижная вода, безоблачное небо лежали перед ними, как мир. Рыжие паруса огневе-

ли с краю вдали.

— Как зовут ее? — спросил доктор.

— Мария.

— Имя вечности, — торжественно сказал доктор. — Вы ведь не хотите оставить меня?

— Вы не оставьте меня! — воскликнул Александр. Старик стал ему дорог и близок.

— Тогда пойдемте!

Они вышли в полутемную улицу и в один из тех домов, где в нижних этажах живут без солнечного света.

Доктор отворил дверь старинным ключом, и они поднялись по узкой лестнице и вошли в маленькую квартиру с единственным узким окном в стену. В первой комнате можно было различить кровать, шкафы, столы и стулья. Вторая была темна. Они сели.

— Вы знаете, что вы медиум? — спросил доктор. — Я почти не обманываюсь в определении с первого взгляда. Вы никогда не участвовали в спиритических сеансах?

— Нет.

— Вы согласны сейчас устроить сеанс? Вы хотели бы видеть и ощущать кого либо из умерших?

— Разве она умерла? — в ужасе воскликнул Александр. Этой мысли он и допустить не мог.

— Друг мой! — сказал доктор. — Я ничего не знаю. Я шел мимо и почувствовал силу, потом увидел вас. Не скрою, мне около вас было заметно присутствие другого существа, женщины. Но в какой стадии бытия она находилась — в той ли, которую называют жизнью, или в другой, называемой смертью, — я определить не мог.

— А живых можно вызывать и чувствовать? — в том же ужасе спросил Александр.

— Может быть, — сказал доктор. — Это древняя мечта, но, кажется, она осуществима. Мне кажется, вы больше меня знаете об этом.

— Тогда скорей, скорей!..

Доктор зажег свечу, загоревшуюся красно-желтым огнем, и ввел Александра в соседнюю комнату. Она была почти пуста. Часть ее была отделена занавеской, перед кото-

рой стоял столик и три стула.

Доктор и Александр сели друг против друга, положив руки на стол.

— Силы, окружающие нас, придите! — призвал доктор.

Затем беззвучная тишина настала в комнате.

Это было тридцатого марта, по новому стилю, в шестом часу вечера.

Сеанс вышел неудачным и тяжелым для участников,

— Мария, Мария! — прошептал Александр, и обычное сознание его покинуло. Начались сумбурные, недобрые явления. Прикосновения были грубыми, стуки немелодичными; занавеска несколько раз вздымалась и слышался неприятный запах. Пламя свечи колебалось от волн, ходивших в воздухе.

На одно мгновение Александр почувствовал присутствие Марии, но тотчас какие-то темные силы оторвали его от нее, и она исчезла безвозвратно.

Доктор внимательно следил за Александром, перешептываясь с кем-то.

Вдруг он воскликнул громко;

— *Eins, zwei, drei!* — и отнял руки от стола.

Александр проснулся. Они поспешно вышли из комнаты. Доктор открыл электрический свет. Кабинет его оказался уютным и удобным, как у истого немецкого ученого.

— Сеанс вышел заурядным и, значит, неудачным, — сказал он. — Вы, кажется утомлены очень?

Александр вспомнил, что он почти не ел эти дни.

— Да, — сказал он.

Его одолевала дремота.

— Вы где живете?

Александр сказал.

— Там остались какие-нибудь вещи Марии?

При одном имени ее Александр встрепенулся.

— Да. да! Там все нетронуто.

— Тогда идите к вам, а по дороге я покажу вам, где умеют делать ризотто и выбирать вино.

Через час они входили в комнату Александра. Доктор внимательно и любовно осмотрел ее. Потом посадил Алек-

сандра за стол, плотно задернул занавеси окон и алькова и сел рядом.

— Забудьте обо всем, кроме Марии, — сказал доктор.

— Забыл! — блаженно прошептал Александр, предчувствуя явление любимой.

В комнате было совершенно темно.

После некоторого молчания доктор спросил:

— Вы чувствуете что-нибудь?

— Я слышу ее шелест, ее голос, как будто она здесь, у постели, но я не могу говорить, потому что тогда я потеряю ее...

— Я больше не буду спрашивать, но вы соберите все силы, просите полного явления, полного воплощения, доступного не только вам.

В наступившей тишине Александр изредка вскрикивал. Он впал в обычное свое состояние, в котором чувствовал Марию. Только сегодня оно было длительнее и глубже. Уже всем существом он слышал ее, но, бессознательно исполняя совет доктора, он хотел, не теряя Марии, как бы вернуться в свои обычные пределы, не летать за ней, бесплотной, а вспомнить, что он сидит на определенном месте, за столом, и ее почувствовать тут же и так же, как себя.

Доктор, касаясь мизинцами его похолодевших мизинцев, помогал ему внушением.

Мария как будто сопротивлялась его желанию, как будто молила прожить минуту тайного свидания бесплотно и счастливо, как уж не раз. Александр настаивал, повинуюсь чужой воле.

Тишину нарушило семь отдаленных ударов с башни часов.

Прошло еще несколько мгновений, и Александр почувствовал какую-то перемену. В душе пронесся ужас, как тогда, после исчезновения Марии.

По комнате медленно поплыли, на высоте человеческого роста, два небольших, чудесного цвета огня. Между ними было расстояние как между глаз.

Доктор почувствовал, что он улыбается.

Холодный ветерок пронесся над руками доктора и Алек-

сандра.

— Вы видите? — прошептал доктор.

— Вижу, это ее глаза.

— Она уже не среди живых, — медленно и тихо произнес доктор, но Александр не слышал его слов, потому что огни приблизились к нему, склонились ниже, и ласковое, каким не может быть нежнейший поцелуй, прикосновение ощутил Александр в волосах своих, у лба.



Он тихо простонал от восторга и невыносимо сладостной тоски.

Комната наполнилась запахом цветов. За занавесью алькова показалось пятно нежно-фиолетового света и стало приближаться.

— Просим воплощения, полного воплощения! — быстро проговорил доктор.

Свет подлетел к Александру, не сводившему с него глаз. Свет приближался, готов был коснуться, благоухание было сильнее. Александр, инстинктивно отстраняясь, косился на него взглядом, и вдруг ужас, страшнее смертного, сковал его сознание: он в световом пятне различил черты тонкого профиля, профиля Марии, с полузакрытыми в нестерпимом страдании глазами. Именно от выражения этих глаз ужас и тоска охватили Александра.

Он закричал и откинулся на диван. Доктор успел одновременно с ним отнять руки от стола. Все явления мгновенно исчезли. Доктор дал свет. Голубая вуаль, которая, — он ясно помнил — лежала на постели, теперь покрывала лицо Александра, бывшего без чувств...

V

Той же ночью доктор Альвиссен сидел у себя в кабинете и записывал в толстую книгу следующие строки:

«30 марта. Редкое наблюдение из области телепатии и спиритизма. Объект наблюдения — русский интеллигент, невратеничен, силен физически, по-варварски красив. Сильный медиум. Вызывал свою возлюбленную, Марию, которая, по-видимому, сбежала от него. Явления распадались по характеру и по времени на две категории. До семи часов вечера они имели вид психических сношений на расстоянии между живыми. Объект наблюдения, под моим внушением, добивался осязаемого появления в комнате опытов женщины, находившейся в другом месте. Медиумические данные, усиленные страстью, предсказывали успех; как вдруг, ровно в семь часов, явления приняли резко спиритический характер, что возможно только с мертвыми. Так как сношения были завязаны с одним и тем же лицом, то несомненно, что это лицо, а именно Мария, в семь часов умерла. Открытым и крайне интересным остается вопрос, поскольку смерть ее была вызвана потревожившей ее волей медиума. Возможны и другие причины, но последним,

решающим поводом надо признать эту волю. Объект наблюдения оставлен мною в глубоком обмороке, со слабым пульсом. Поставить его в известность относительно смысла происшедшего было невозможно. Показания в общем неблагоприятны для вопроса о возможности явления живых. Обстоятельства смерти Марии подлежат обследованию. Подробный доклад посылается в Берлин в Лондон».

VI

Месяца через два, с поседевшими волосами, осунувшийся и бледный, Александр впервые после болезни встал с постели и при помощи сиделки подошел к окну.

Русская весна была в разгаре. Яркая молодая зелень берез горела на солнце. Ее благоухание наполняло воздух.

Александр не помнил, как он был перевезен в свое имение, и не представлял, сколько времени прошло от начала его болезни.

Но недолго он глядел в окно. Глаза его беспокойно забегали по столу, заставленному лекарствами, ища чего-то. Потом он умоляюще посмотрел на сиделку, сказал:

— Дайте, дайте! Я хорошо спал сегодня, а доктор сказал, что можно мне дать эти конверты после первого же здорового сна.

Глаза его наполнились слезами. Он был жалок, как ребенок.

Сиделка выдвинула ящик стола и вынула оттуда два конверта.

Александр жадно схватился за них и, шатаясь, опустился на постель.

Дрожащей рукой он вынул из одного вырезки из итальянской газеты и, содрогнувшись, вспомнил, как он прочел эти строки наутро после сеансов с Альвиссеном и от смысла их потерял сознание, вернувшееся к нему только теперь, недавно.

Другой конверт он разорвал, напрягая силы; вынужденное письмо он поцеловал и стал читать мутными от слез глазами. Сиделка отошла к окну.

Письмо было написано полудетским почерком Марии. Карандаш местами стерся, строки были неровные, как будто писались в темноте; бумага смялась, как будто ее отнимали.

«Защитник мой, любимый мой! — писала Мария. — Он меня убьет, как только сжалится. Он меня держит взаперти, мучения мои невыносимы, он забыл, что он мне отец, а я его родная дочь, с той минуты, как я убежала с тобой из его дома. О, как ясно помню я эту ночь!.. Он следил за каждым нашим шагом, он гнался за нами по всем городам, он в Венеции с первого дня знал, где мы остановились. Ведь я умоляла тебя не покидать меня ни на минуту! Коли б ты не отошел тогда от меня, мы, может быть, до сих пор были бы вместе. Как только ты скрылся за углом, снизу из воды на меня бросились двое. Отец был в плаще, глаза его были безумны. Другой был страшен, как палач. Они взяли меня под руки и прежде, чем я успела закричать, опустили в гондолу. Отец тотчас зажал мне рот рукой. Я стала метаться, чтоб опрокинуть гондолу. Один раз мне удалось наклонить ее так, что борт зачеркнул полу. Тогда меня стали грубо держать, и я потеряла память. Я не знаю, куда меня увезли. Я не знаю, где я. В моей комнате нет окна, время от времени мне зажигают ничтожную электрическую лампочку. Никакие звуки до меня не долетают, но одна из стен моей комнаты такая холодная и сырая, как будто уходит в воду. Меня кормят, от меня ничего не хотят. Изредка входит отец, но мой вид приводит его в бешенство. Я письмо это пишу медленно и ношу его на груди. Я все время с тобой, я все лечу к тебе. Помнишь, как мы сидели у старой церкви, и фонтан журчал? Иногда мне кажется, что душа моя навсегда соединилась с тобой, что я вижу тебя и целую, мой любимый. Отец стал говорить со мной. Он требует, чтоб я забыла тебя, он плачет и напоминает родной дом. Помнишь сад над рекой, где мы встречались? Правда, я была тогда тоненькая? Как хорошо, что наши име-



ния Бог устроил рядом, а то б я никогда не узнала тебя и счастья с тобой. Отец больно сжал мне руку и показал отточенный кинжал. Я вскрикнула, но не испугалась. Я все время с тобой. Но где ты? На меня вдруг нападает смятение, я мечусь по комнате, роняю вещи и плачу. У нас на постели я забыла свою голубую вуаль. Наверно, ты целуешь ее, когда ложишься спать. Она моя любимая, а зеленой, которую мы купили в Риме, не люблю и спрятала ее на дно чемодана. Часто я слышу твой голос. Ведь ты зовешь меня, ты зовешь? Ведь я прихожу к тебе? Ведь мы бываем вместе? Я лечу к тебе, мне больно, как будто я отрываюсь от тела, но я лечу. Когда умру, мне будет легче приходиться к тебе. Как только я услышу, что ты опять меня зовешь, я умру, чтоб прилететь к тебе. Я доведу отца до бешенства, я буду кричать ему про свою любовь к тебе, про то, как я тебя ласкала. У него лицо почернеет, как чугун, и он ударит меня кинжалом в грудь, куда ты целовал меня так часто... Или, может быть, ты спасешь меня еще раз? Ты можешь? Ты меня похитил в первый раз. Отец меня похитил во второй раз. Кто похитит в третий? Ты или смерть, все равно, это будет для тебя, я твоя. Я сама шепчу свое имя — Мария! Мария! — и мне кажется, что это ты меня зовешь. Отец вошел сейчас. Я спрятала письмо. Он ушел. Вот опять идет... Александр! Спаси!..»

Письмо обрывалось внезапно. Последнее слово было едва написано.

Александр закрыл глаза и так лежал долго, без движения, вспоминая все, что было. Только благодаря слабости и болезни он вынес эти воспоминания.

Потом взял и перечел вырезку из газеты. Там сообщалось об ужасном убийстве русской девушки, происшедшем, по определению врачей, вечером, часов в 7, тридцатого марта. Смерть была мгновенная, от верного удара кинжалом. Тело было случайно обнаружено в канале. Убийца разыскивался.

И, опять лишаясь сознания, он успел подумать:

— Неужели это не смерть?

ГЕОСКОП КАЭНА

Илл. автора



В главном зале Славии, великого государства, шли последние приготовления к празднику. В древности, не говоря уже об эпохе до слияния городов, но и в те века, когда над единым Городом, покрывшим всю землю, не было еще возведено сводов, — приготовления к праздникам, по свидетельствам историков, были шумны и хлопотливы.

Но в эру, когда время стало измеряться не часами и календарями, а излучениями радия, не было уже ничего во всем Городе, что могло бы стать причиной суеты и шума.

Главный зал был достаточно обширен: одна из четырех колонн его покоилась на развалинах Германии, и в подземельях как раз под ней сохранялись еще остатки грубых сооружений так называемого Берлина. Противоположная ей колонна подымалась в нейтральной, по-древнему, и северной по современному названию России, невдали от того места, где сооружен был Музей Земли, в котором люди с атавистическими инстинктами могли еще удовлетворять своему странному желанию видеть обнаженную от камня почву.

Свод зала был раскрыт.

К отлету в безвоздушное пространство готовился отряд воздухолазов в своих странных костюмах, напоминающих водолазов древности, когда вода еще не была строительным материалом и в океане не было туннеля; четыре ог-

ромных рабочих аэроплана ждали знака, чтобы взлететь по вертикальной линии; пятый, изысканной конструкции, должен был поднять на себе недавно изобретенный геоскоп — последнее творение гениального Каэна.

Понемногу зал наполнился людьми. Тела их были гармонично развиты, но рост их был мал, носы и уши близились к атрофированию, и черепа были голы. Легко было видеть их тела, потому что одежды их были из почти невидимой термо-ткани, послушно облегавшей формы. Без бровей и без ресниц, но все с огромными печальными глазами были они. Поглотители шумов — аппараты с алюминиевыми рупорами, сверкавшие в стенах, — поддерживали законом установленную, нормальную тишину, хотя были уже в зале сотни тысяч людей. Тишина эта звучала, как ропот очень отдаленного прибора. Почти у всех от глаз к ушам проведены были золотые нити, передававшие зрению функции слуха.

Каэн стоял вдали. На нем, как на немногих, были прозрачные, остроконечные крылья, от соприкосновения которых тело человеческое становилось легче воздуха и летало. Он тщетно напрягал свое зрение, приставляя к глазам зеленоватый кристалл и желая в толпе розовых тел узнать Аву.

Вероятно, ее не было, потому что он не получил ни одной еще от нее воздушной телеграммы, хотя послал уже с концов своих раздвоенных ногтей все двадцать, бывших в его распоряжении.

Он двинул плечами и взлетел. Тотчас же он услыховидел аплодисменты. Это было похоже на волну, поднявшуюся вдруг в гармоническом приборе. Он закинул голову в знак благодарности и подлетел к геоскопу. Быстро осмотрев аппарат, он подал знак к отлету. Медлить более нельзя было, и он решил послать аэропланы вперед, а самому, хотя это было и опасно, так как он мог попасть в вихрь метелей, отгоняемых полярными пропеллерами от земли, — лететь потом, увидавшись с Авой.

По его знаку все пять аэропланов взлетели и скрылись в темноте за сводами.

В эту минуту в толпу вошла Ава. Она ютилась в нижних городах, и стычка двух отрядов самоубийц задержала ее. Ей надо было ждать, пока две стальных коробки, вмещавших каждая до сотни человек, заряженные противоположными электрическими зарядами, не были брошены друг на друга и испепелены в пахнущую озоном пыль.

Войдя в залу, она с кончика мизинца послала телеграмму: «люблю». За этой последовали другие: «жду», «горю», «хочу» и так далее, ибо глаголы любви были те же, что и в древности.

Каэн в то же мгновение получил их и в восторге нажал ногой кнопку в центре зала. Тотчас со сводов в небо поднялись столбы теплого воздуха из подземных печей и вовлекли в себя снежные вихри пространства. Механически раздробляемый дождь полился сверху, но, не доходя до уровня человеческих голов в зале, испарялся под влиянием горизонтальных горячих струй; пар исчезал тотчас. В то же время тысячи солнц вспыхнули в стенах, и воздух был исполосован гигантскими радугами. Это зрелище Каэн приготовил неожиданно для всех. Люди были так восхищены, что некоторые поглотители шумов не выдержали и перестали работать. На мгновение ворвался грохот в залу.

Каэн отпустил кнопку, радуги исчезли. Он увидел Аву и перелетел к ней. Они вошли в одну из бесчисленных дверей зала. Это была комната из мягкого зеркала. Стены и пол ее принимали удобные, упругие формы. Они сели и нажали золотое колечко у себя на воротах; одежды из термоткани истлели.

Каэн осветил комнату зеленым светом. Поцелуй их был такой же, как и в первые от Рождества Иисуса тысячелетия, как и раньше того.

Потом Каэн сказал Аве (уже давно не говорили ни в первом, ни во втором лице):

— Число рождений точно определено законом. Если она почувствует себя матерью, она будет испепелена. Она знает это?

— Знает. Но испепелена она не будет.

— Она восстанет на закон?

— Она восстанет.

— Но тогда ей в наказание впрыснут эвин, и она будет жить без конца, как тягчайшие преступники.

— Она будет жить без конца... — ответила Ава. Глаза ее фосфорически светились.

Каэн в отчаянии молчал.

— Тебя ждут, — сказала Ава.

И опять, одним прикосновением к золотому колечку, они создали на себе термо-ткань и вошли в залу.

Каэн в тоске перелетел на середину. Начал речь:

— Он улетает в безвоздушное пространство. Туда уже поднять его геоскоп. Геоскоп позволяет видеть снова всю историю земли. Поднявшись на высоту, откуда виден первый, как говорили, год, он примет на свои экраны величавые события вблизи Вифлеема и передаст их сюда в особую атмосферу, которая образуется в зале в виде облака. Он улетает.

Каэн услышал опять как бы звук прибора. Ему был подан маленький аэроплан. Люди замерли, вглядываясь в излучения радия, мелькавшие светлой полосой на стене. Циферблата не было, и каждый считал счетом своей жизни, ведомым бессознательно.

Когда Каэн отлетел во тьму, его опять охватила тоска. Он знал, что решения людей его эпохи, произнесенные вслух, неизменны, он знал, что Ава обрекла себя на вечную жизнь. О, как сладостно было ему думать, что она согласится на испепеление! Тогда бы, как истый мужчина своей эры, он чувствовал в себе волю к жизни, он создал бы еще невероятные аппараты, его изобретения переменили бы технику земли! Но она, им один раз любимая, осталась жить навсегда. И он унес с собой тоску по ней, он не свободен теперь, он погиб.

Вокруг него кружились вихри мировых метелей. Легкий поворот руля, его унесет в ночь и бросит в холодную бездну. Соблазн был велик, но мысль, что люди ждут внизу и, если не увидят, не поверят в его геоскоп, заставила его усилить вертикальную скорость. Он вскоре увидел пять аэропланов, светящихся ярче звезд.

Он решил показать людям геоскоп, но на землю не возвращаться.

Ступив на площадку аэроплана, он привел в движение машину, вырабатывающую особый плотный пар. Облако оторвалось от аэроплана и полетело вниз. Каэн освещал его путь прожектором.

Потом он подошел к экранам, установил их в нужной плоскости и тронул главный рычаг геоскопа. С диким свистом низринулись вниз лучи-возбудители и по дрожанию экранов Каэн почувствовал, что они принимают уже давно минувшие движения, формы и краски и передают их в то облако, что стоит там, в зале.

Волнение овладело им, хотя ему самому не было видно ничего...

В главной зале напряжение сотен тысяч людей достигло апогея, когда облако, слетев, остановилось посередине.

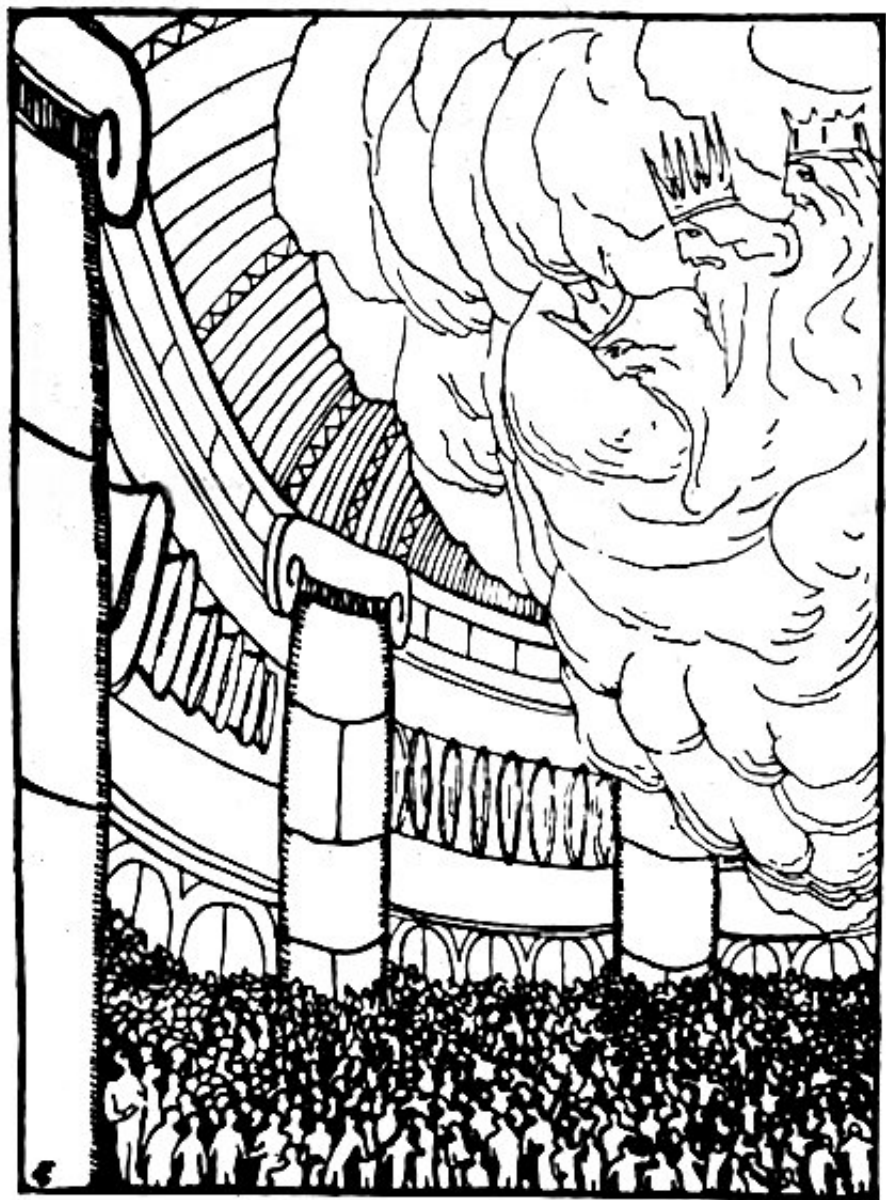
Людям, считающим время в пределах своих личных жизней, трудно было представить тысячелетия, отделяющие зрелище, готовое им явиться, от его возникновения. Но все же они понимали всю цену нового изобретения, и когда первые смутные образы появились в облаке, сразу сломалось несколько поглотителей шума.

В облаке были видны три фигуры в тяжелых, непроницаемых одеждах, со странными украшениями на голове. Фигуры двигались, согнувшись. Над ними чувствовалось присутствие какого-то источника света.

— Поклонение волхвов, — сказал ученый дрожащим голосом, но мало кто его понял.

Ава в умиленном восторге смотрела на облако. Она почти не понимала того, что перед ней происходило, но она знала, что это — чудо, и что создатель чуда этого в ней самой создал иное чудо, в ней самой дал начало чьей-то новой жизни. От этой мысли гордость загоралась в ней.

Вдруг в облаке фигуры выявились с полной ясностью. Были видны даже лица, бородатые и волосатые, но с таким выражением, какого давно уже не знала земля. Восторг увидевших не мог больше сдерживаться. Крики, аплодисменты достигли такой степени, что поглотители шумов раз-



рушались один за другим. Рев океана не был бы сильнее, чем шум, поднявшийся в зале. Исполнители воли государства испепеляли тысячами шумящих. Облако на глазах у всех стало блекнуть, меркнуть, исчезать: его атмосферу, по-видимому, разрушали эти дикие потоки звуков.

Ава в отчаянье стояла у стены той комнаты, где была она с Каэном.

Облако исчезло. Настала тишина. Сильный запах озона подымался от пепла казненных. Свечения радия мелькали на стене. Казалось, люди стали чувствовать время, так долго стояла тишина в зале.

А в ночном пространстве, на своем аэроплане, у геоскопа, Каэн, зная, какие видения он воскрешает на земле, в волнении перелистывал алюминиевую книжку, вникая в древний язык Писания, читая про Вифлеемскую звезду, про пещеру, про Деву и Младенца, про все то, что видели, как он думал, люди внизу, и что дал им видеть он.

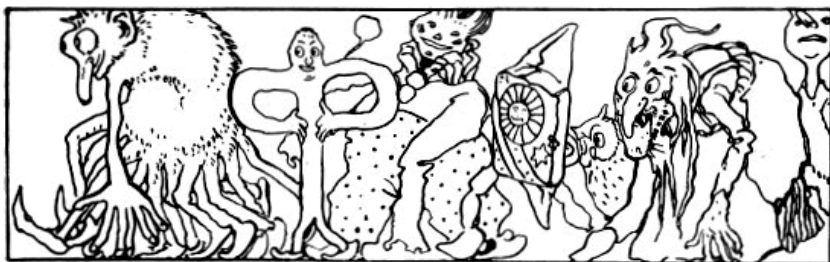
Наконец цикл видений был закончен. Прекратив работу геоскопа, Каэн поблагодарил своих помощников и ринулся на аэроплане в один из снежных вихрей, бушевавших между землей и его аэропланами. Его сорвало с аэроплана и бросило в безвоздушную ночь в тот миг, когда всю силу своего существа он напряг, чтобы послать Аве свой последний привет.

Приложения

ЦАРЕВНА СЛАСТЕНА

Сказка

Илл. А. Комарова



Каждый вечер, как только Аня ложилась в свою кроватку, старая ее няня становилась у двери детской и ждала, когда придут Сны.

Сны приходили разные, и старушке надо было зорко следить, чтоб не проскользнули в детскую Страшные Сны, или Глупые, или Капризные, или еще какие-нибудь нехорошие.

Накануне сочельника Аня улеглась пораньше, чтобы пораньше встать на другой день и скорей начинать звезды дожидаться.

Няня ее притворила дверку и стала Снов ждать.

Первым пришел такой урод, что и смотреть на него страшно было: глаза у него на лоб вылезли, шестипалая рука болталась спереди, а ног было у него больше, чем у сороконожки.

— Проходи, проходи! — замахала рукой на него няня. — Разве таких можно пускать в детскую? Ты мне ребенка напугаешь!

Страшный Сон стал жалобно скулить:

— Никуда не пускают! Что ж мне делать! Разве я виноват, что я такой! Пусти хоть на минутку!

Но няня не пустила его.

Потом пришел Конфетный Сон.

Няня не любила его, потому что с него всегда сахар капал и пачкал пол, а еще потому, что от него зубки портились, но на одну минутку пустила его в детскую.

Потом пришел Азбучный Сон.

Он умел складываться и сгибаться, как угодно, и становиться похожим на всякую букву. Няня погладила его по

головке и тоже впустила.

Потом приходили разные Сны. Няня кого впускала, кого гнала прочь. Уж ей самой начинало хотеться спать, и она только поджидала, когда придет любимый ее Сон Кочерыжка. Давно уж не было у нее зубов, а кочерыжку от капусты погрызть она всегда любила.

Но Кочерыжка запропастился куда-то.



Вместо него подошел какой-то старикашка, маленький, бородатый, быстроглазый и веселый, в красном колпачке.

Снял колпачок и поклонился.

Сказал медовым голосом:

— Здравствуйте! Позвольте мне пройти, пожалуйста.

Няня никогда не видывала такого Сна. Понравилась ей его вежливость, а все-таки пустить незнакомого в детскую она побоялась и спросила:

— А кто ты такой?

— Старикашка! — сказал Сон.

— Да, я вижу, что Старикашка, — ответила няня, — только откуда же ты взялся?

— Я Неулыбин Старикашка, — сказал Сон, — и прихожу раз в год, под Сочельник. Приснось и опять ухожу.

Няню сильно одолевала дремота. Она зевнула и спросила:

— А как же ты спишь?

Сон улыбнулся хитро-прехитро и сказал:

— Как дойдешь до своей постели, так и узнаешь. Только не прищепи меня дверью, как я за тобой пролезать стану.

— Ладно, ладно! — забурчала няня.

Ей так захотелось вдруг спать, что она и не помнила, как добралась до своей постели.

Неулыбин Старикашка прыгнул в детскую и стал сниться.

Аня перевернулась на другой бочок в своей кроватке. Ей уж надоедал Азбучный Сон, и она обрадовалась, увидав Старикашку:

— Ай, какой бородатенький! — закричала она ему. — Хочешь, я подарю тебе сумочку, чтоб в ней бороду носить? Знаешь, как для платков бывают? А то ведь тебе трудно, зацепиться и упасть можно!

— Спасибо тебе за ласковое слово, царевна Сластена! — ответил Старикашка.

— Разве я царевна Сластена? — с улыбкой спросила Аня. Ей очень понравилось, что ее так называют, только она не хотела подать виду.

— Вяземские пряники любишь? — спросил ее на ушко Старикашка.

— Люблю! — Ответила шепотом Аня. — Особенно, когда на прянике напечатано а, эн, я, Аня!

— Ледяные сосульки любишь? — еще спросил Старикашка.

— Никогда не пробовала! — сказала Аня.

— Попробуешь, так полюбишь! Мармелад разноцветный любишь?

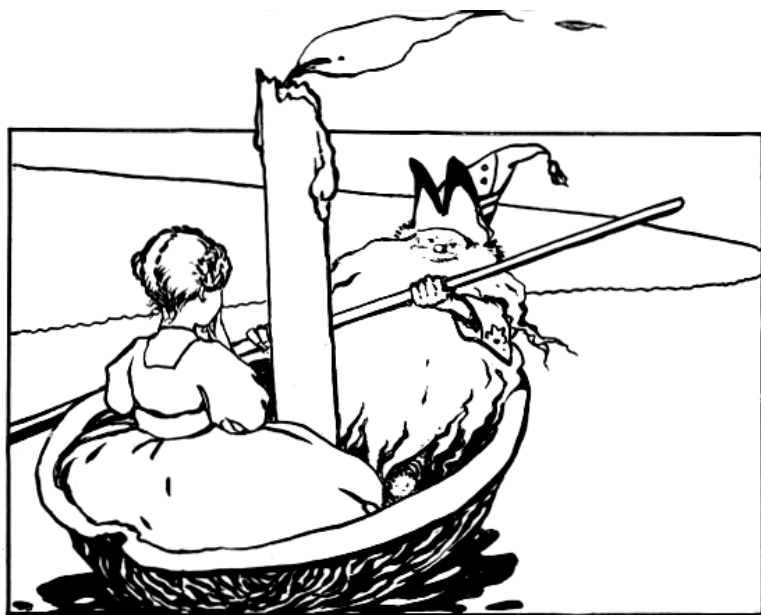
— Ах, люблю! — вздохнула Аня.

— Ну, вот и выходит, что ты царевна Сластина! — засмеялся Старикашка.

— Ну, хорошо! — согласилась Аня.

— Прыгай же в лодку! — велел Старикашка.

— В какую лодку?



Аня оглянулась и увидела перед собой скорлупку грецкого ореха со свечкой посредине, совсем такую, какими гадают. Не могла понять Аня, сама ли она стала маленькой, или скорлупка эта была большущая, только увидела она лавочку под свечкой и села на нее.

Старикашка зажег свечку, и они поплыли.

— Как хорошо! — сказала Аня. — Это где же мы плывем?

— Это Мармеладная река, — ответил Старикашка, — замечательная река! Ей нельзя замерзнуть, потому что мармелад и зимой кушают.

— Да ведь он твердый, а река жидкая! — сказала Аня.

— Глупенькая ты, царевна Сластина! — засмеялся Старикашка. — Говори, хочешь мармеладу?

— Хочу, — созналась царевна Сластина.

Старикашка отломил от скорлупки маленький кусочек и зачерпнул из реки. Вода из Мармеладной речки тотчас застыла и стала самым настоящим, вкусным мармеладом.

Царевна Сластина так обрадовалась, что стала прыгать в скорлупке, скорлупка закачалась, и свечка потухла. Плыли в темноте.

— Боюсь! — сказала царевна Сластина, засовывая в рот мармелад.

— Сейчас повернем, и Хлопушечный Завод будет, — сказал Старикашка, — только ты не бойся, как начнут хлопать хлопушки в честь твоего прибытия.

— Что это значит: «в честь моего прибытия»? — спросила царевна Сластина.

— Видишь ли, я сам не знаю, что это значит, но у нас так говорится про царя сластей Неулыбу, про всех царевен-Сладкоешек, про Пряничного королевича и про других.

— Ах, как это интересно! — сказала царевна Сластина и хотела еще что-то сказать, но в это время скорлупка повернулась, и на берегу появился Хлопушечный Завод. Он был такой красивый, что у Ани рот раскрылся от удивления.

Сто золотых колонн, перетянутых внизу и наверху, как у настоящих хлопушек, стояли на берегу и ежеминутно хлопали. По берегу было разостлано бумажное кружево, а у самой реки стояла палатка из разноцветной слюды. Было светло, как днем, и громко, как на войне.

— Это «в честь моего прибытия»? — спросила царевна Сластина.

— В честь твоего прибытия! — ответил Старикашка.



Скорлупка подплыла к палатке. Ловкие слуги в бумажных костюмах помогли царевне Сластине выйти на берег. Как только она ступила на берег, сто золотых колонн хлопнули изо всех сил и разорвались. Из них посыпались всякие бумажные наряды. Царевна Сластина выбрала себе голубую шапочку, красный передник и лиловую накидку. Вышло очень красиво!

Аня увидела перед собой ворота, сложенные из вяземских пряников. На каждом было отпечатано: «Аня». Ворота распахнулись, и она вошла в длинный-предлинный коридор, тоже выстроенный из пряников. Пахло здесь так вкусно, что у нее слюнки потекли.

— Можно отломить кусочек? — спросила Аня у Старикашки.

— Нет, нельзя! Если только кусочек отлочишь, весь дворец развалится, — ответил Старикашка.



Долго они шли, наконец, вышли на площадь. Посредине стоял дворец самого Неулыбы. Он весь светился, потому что сделан был из леденцов: малиновых, земляничных, черничных и ананасных. Леденечные сосульки висели всюду. Во дворце был бал, гремела музыка.

Старикашка сказал Ане:

— Царевна Сластина! Прошу тебя подождать у дверей. Я пойду сказать царю Неулыбе, что ты приехала, и он сам выйдет тебя встречать и поднесет тебе поднос таких сладостей, каких ты никогда не видывала. Ждать тебе надо будет только одну минутку, но помни, что ни одной сосульки нельзя тебе тронуть, пока не загремят опять хлопущки, а хлопущки загремят, как только ты войдешь в зал.

— Хорошо! — ответила со вздохом царевна Сластина. Старикашка скрылся. Она одна стояла на крыльце.

— Откуси от меня кусочек! — сказала ей земляничная сосулька.

— Нельзя! — ответила Аня.

— Ну, от меня откуси кусочек, — сказала малиновая сосулька.

Аня ничего ей не ответила, а только вздохнула.

— Лучше всего меня попробуй, — сказала черничная сосулька, — ведь ты меня никогда не едала!

— Правда! — ответила Аня.

Она не могла удержаться, протянула ручку, отломил кусочек. Но только поднесла его к роту, как весь дворец Неулыбы погас, потемнел и растаял. Аня стояла одна в темноте. По реке плыла скорлупка с потухшей свечкой, и слышно было, как горько плакал в ней Старикашка. Аня заплакала сама, стала тереть кулачками глазки. Отняла кулачки и увидела, что сидит в своей кроватке; за окном уже светло.

— Няня, няня! — закричала царевна Сластена.

Няня заворочалась на своей постели и подняла голову.

— Проснулась, царевна моя! — сказала она, улыбаясь. — А мне-то всю ночь снилось, что пряники ем, и такие сладкие, что даже тошно стало.

— А мне Неулыбин Старикашка не позволил и дотронуться до них, — сказала грустно Аня.

— Иди-ка, умываться будем! — забурчала няня. — Какой еще там Неулыбин Старикашка?

Она совсем забыла, что сама впустила его вечером в детскую!



НЕПОСЛУШНАЯ СНЕГУРКА

Весенняя сказка

Илл. В. Егорова



Всякий, кто видал хоть самый маленький кусочек льда, может себе представить, как красив дворец деда Мороза. Он весь сделан изо льда. Он весь сияет зеленым светом, в нем светло днем и ночью, и при солнце и при луне, на нем столько башенок, что сосчитать невозможно. По всем залам можно на коньках кататься, подушки на диванах набиты самым мягким снегом. Если б не холод, жить в таком дворце было бы одно удовольствие.

Вот, в этом дворце был пир. Больше всего угощали, конечно, мороженым. Музыка играла очень печально, потому что это был прощальный пир. Близилась весна, и Морозу надо было расставаться со всеми своими зимними друзьями.

Дед-Мороз сидел на высоком ледяном троне, по обе стороны от него на лавках сидели дочери его Снегурки. Их было семь, но сидело только шесть, а седьмой совсем не сиделось, она все вертелась, подбегала к гостям и старалась развеселиться, но личико ее было очень печальным: ведь и с дочками-Снегурками надо было после этого пира расставаться Морозу.

Метели — Снегуркины тетки, Вьюги, — Снегуркины бабки, Иней, — Снегуркин дядя, подходили прощаться к Морозу.

— Не свистите, пожалуйста, так жалобно, — сказал Мороз Метелям, — а то я расплачусь!

Но Метели не могли не свистеть жалобно: такой уж был у них голос! Ходить, по правде сказать, они тоже не умели, а умели только плясать. Довольно смешное было это проща-

нье! Снегурки смеялись в кулачок на своих теток.

Потом подходили Вьюги прощаться.

Мороз им тоже сказал:

— Не войте так печально! Я чувствую, что я расплачусь.

Бабки-Вьюги закрутились, завертелись и завыли. Они очень любили Мороза, и не хотелось им покидать его дворца. Тетки-Метели не могли удержаться и второй раз принялись прощаться. Такой свист, такой вой подняли во дворце Мороза, что мужики, которые за десять верст от этого места проезжали на реку лед ломать, высунулись из воротников и сказали:

— Ну и здорово воеет!

— Ну и ладно свистит!

А мужики знают толк в свисте метельном и вое вьюжном и не похвалят зря.

В конце концов, Дед-Мороз не выдержал и заплакал. Тотчас ледяные сосульки из слез намерзли у него на глазах. Чем больше он плакал, тем длиннее становились сосульки. Когда они уперлись в пол, Мороз сказал:

— Довольно плакать!

Отломил сосульки от глаз и приставил к стенке.

Тётки-Метели и бабки-Вьюги примолкли, легли на лавки. Опять заиграла печальная музыка. Пришло время прощаться с дочками-Снегурками.

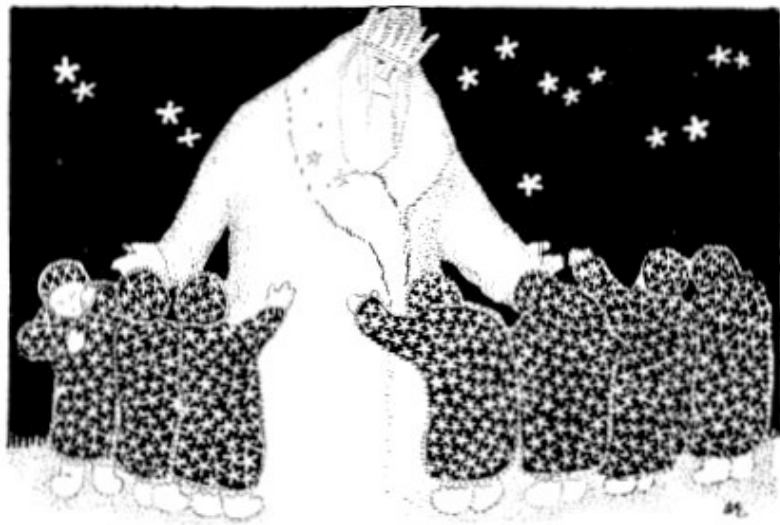
Ночь кончалась, луна ходила за деревьями и выбирала место, куда б поудобнее закатиться.

Сказал Мороз:

— Дочки мои, Снегурки! Прощайте, милые! Прощайте, дорогие! Кончается зима, сейчас приедет Солнце, и я подарю вас ему. Смотрите, как будете таять, выбирайте ямку покруглее, чтобы лужица была, как маленькое озеро. Были вы мне дочками веселыми, послушными и резвыми! Дай Бог, чтоб на будущую зиму такие же родились. Прощайте, спасибо вам! Очень грустно мне расставаться с вами, но ничего не поделаешь, такая у меня судьба! Подходите, поцелую вас в последний раз.

Низко наклоня милые свои головки, подходили Снегурки прощаться с отцом. Тихо бились в них ледяные сердеч-

ки. Страшно и приятно было думать, что скоро придется им таять. Ноженьки и рученьки ломило, не хотелось ни бегать, ни резвиться.



— Батюшка-Мороз, прощай! — говорила каждая из них с тоскою.

Только у младшей, у седьмой, не было тоски в сердце. Ей не хотелось таять, ей хотелось жить и летом.

Когда кончилось прощанье с дочками, она выбежала из двери в лес. От луны был виден только краешек. Вдруг услышала она скрип полозьев.

«Это что за гости? — подумала она. — Уж не люди ли?»

Подъезжало несколько саней, рядом шли мужики с ломами.

— Здравствуйте! — сказал передний мужик Снегурочке, высовываясь из воротника. — Нет ли у вас тут речки?

— Нет! — ответила Снегурочка. — А зачем вам?

— Едем лед ломать, да заблудились. А скоро весна, боимся, что не успеем наколоть. Мы народ богатый, мясо едим, студень варим. Непременно надо ледники набить.

— Речки у нас нет, а льду сколько угодно! — сказала Снегурочка.

Мужики рассмеялись:

— Ишь ты! Маленькая, а шутливая! Где ж это у вас лед намерзает, коли воды нет?



— У нас дворец ледяной, — ответила Снегурочка, — можно отломить, все равно скоро таять начнет.

— Вот так чудеса! — сказали мужики.

Снегурка отвела мужиков к задней стенке дворца и сказала:

— Берите, сколько надо!

— Ну и лед! — дивились мужики. — Как обтесан! Какой крепкий! Какой гладкий!

Один мужик с бородой посмотрел на Снегурку, вздохнул и сказал:

— Шустрая девчонка! У меня такая же была, да утонула!..

— Нечего вздыхать, работай! — ответили ему другие.

Светлело все сильнее и сильнее. Солнце, видимо, торопилось и гнало своих коней, не жалея. Золотой ковер разо-

стлался по небу, чтоб лучше было Солнцу ехать. Алые цветы раскидались по ковру. Вдруг вылетела из-за края земли первая жар-птица и запела. Огневые лучи от хвоста ее потянулись по всему лесу.

Из дворца одна за другой выходили Снегурки. Теперь они казались совсем голубыми. Тихо они шли. А сзади, громко вздыхая, шел Мороз.

— Родные мои! Милые! — шептал он. — Каждый год одно и то же! Только вырастишь, только полюбить успеешь, — как надо расставаться! Что за несчастная моя судьба! Уж лучше б я простым мужиком родился, а не Морозом.

— Не горюй! — говорит ему брат его Иней, поддерживая под руку. — У людей еще хуже бывает, ты за год не очень привыкаешь, а там по многу лет живут и потом умирают. Каково хоронить-то, подумай! Не горюй! Солнце не любит. Вон уж едет оно.

— Здравствуй, Солнце! — закричали слабенькими голосками Снегурки.

На блестящей колеснице вылетело Солнце из-за горы. Кони его совсем заморились и стали. Теплом пахнуло на землю.

— Здравствуй, милая! Подойди, я тебя поцелую! — сказало Солнце первой Снегурке.

У Снегурки подкосились ножки. Она сделала шаг навстречу Солнцу, увидала перед собой ямку, шагнула в нее, и больше не могла идти. Горячо поцеловало ее Солнце. Светлой, прозрачной водой наполнилась ямка. Не стало Снегурки.

— Здравствуй, милая, — опять сказало Солнце. И вторая Снегурка растаяла.

Самая младшая, седьмая, увидала это и ручками всплеснула.

«Не хочу таять!» — подумала она и убежала, спряталась во дворце, в самый угол забилась.

Сидит, дрожит и слышит вдруг: стучат в стену. Проломилась стена, вывалился кусок.



— Ну и лед! — сказал бородатый мужик, просовываясь в дырку. — Едем: хватит на все лето.



Снегурка увидела ледоломщиков и попросила:

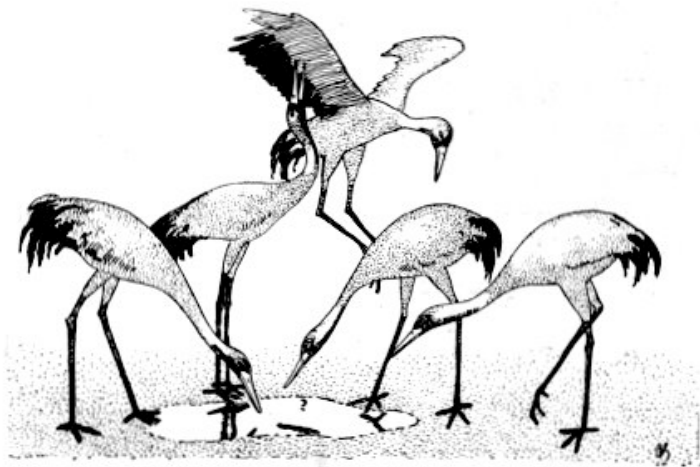
— Возьмите меня с собой.

— И вправду! — согласился бородатый мужик. — Возьму тебя в дочки. Вот жена-то обрадуется! Да и что тебе тут делать? Лес, я вижу, заколдованный, а ты дитя Божие.

— Нет, это простой лес, — сказала Снегурка, — тут Мороз живет.

Мужики только усмехнулись ей в ответ. Уложили лед на санки, подстегнули лошадей и умчались под гору в поля, к жилью человеческому.

А Солнце все целовало Снегурок, одну за другой.



Снежок кругом таял, журчали ручьи. Вместо шести Снегурок стояло шесть круглых лужиц. Из Египта летели журавлиные стаи. Прилетела первая стая, опустилась, напилась из одной лужицы. «Вот вкусная-то вода!»

Прилетела другая стая, выпила вторую лужицу. И еще, и еще летят. Прилетела седьмая стая — все лужицы выпиты.

Нечего пить журавлям, а пить с дороги очень хочется!
Кинулись журавли к Солнцу: напои! А Солнце говорит:

— Семь было Снегурок, семь должно быть лужиц.

А журавли кричат:

— Шесть лужиц!

Журавли никогда не лгут, им даже новорожденных детей в старину разносить давали.

«Куда ж девалась седьмая Снегурка?» — думает Солнце.

Время к полдню. Залетело Солнце повыше, оглянуло всю землю и видит: далеко-далеко едут полем мужики, на санях у них лед, на одной льдине сидит Снегурка.

Солнце выпустило из себя Луч подлиннее и велело ему:

— Догони!

Живо догнал солнечный Луч мужиков и уселся у Снегурки на плече.

Разомлела Снегурка.

Говорит ей Луч:

— Ты как смела слушаться Солнца?

Отвечает Снегурка:

— Я мужику дочкой быть хочу, а таять не хочу! Ни за что не хочу! Ай! не пригревай так горячо, все плечо размокло!

— Вот тебе и «не хочу»! Пригрею — и растаешь! — говорит Луч.

Так спорили Луч и Снегурка, а бородатый мужик в это время рассказывал, как утонула его дочка, катаясь на санках с берега по реке. Ранняя очень весна была, река подтаяла незаметно. Девочка и скатилась в полынью.

Услышал Луч, что говорил мужик, и улетел назад к Солнцу. Все ему рассказал. Подумало Солнце и решило не трогать Снегурки. И как только решило оно это, у Снегурочки ледяное сердечко сделалось человечьим.

Весело подкатили мужики к своему селу. Повел бородатый мужик названную дочку к своей жене, говорит ей:

— Вот тебе, мать, новая дочка! Бог одну отнял, другую послал не хуже прежней.

— Дитяtko мое! Здравствуй! — сказала мать. — Что ж ты бледненькая такая?

— А мы ее откормим, молоком отпоим. Вот весна настанет, цветы зацветут, жаворонки запоют, ребята хороводы водить начнут, — первой красавицей во всем селе будет! — ответил ей муж.

И стала Снегурка им дочкой. Вот позабыл только, как они ее назвали!



БУНТ КУКОЛ

Сказка

Илл. автора



СКАЗКА
и
РИСУНКИ
С. ГОРОДЕЦКОГО

ИЗДА
НОВАЯ МОСКВА



Жила-была кукла,
Очень жадная дама,
В ладоши стучала,
Говорила «папа-мама».
Глаза закрывала.
Волоса завивала,
Пила и ела.
Работать не умела.



Щелкун деревянный
Орехи ей щелкал
И кушать давал.
Солдатик оловянный
От медведя и волка
Ее защищал.
Ванька-Встанька старался,
Перед ней кувыркался.



Кукла Матрена
Коров доила.
Барыню поила
Молоком топленным.
И кучер вихрастый,
Николка румяный,
Возил ее часто
От стола до дивана.

Уж давно революция
Была повсеместно
Но у кукол — известно! —
Головы куцые:
На митинг не ходят.
Не знают о свободе,
Жили по-старому,
Работали на барыню,
И с голоду пухли
Бедные куклы.
Спали, как попало,
Под столом и кушеткой.
Им даже попадало
По затылку нередко.
Барыня их мучила.
День и ночь труды:
Не видали ни лучика
От красной звезды.

Но однажды вечером
В этот кукольный дом
С улицы прибежал
Умный, глазастый
Степка-Растрепка.
И все рассказал
Компании робкой:
— Товарищи, здрасьте!
На свете этом
Вся власть советам!
Кто не трудится, — не ест!
Повскакали куклы с мест.
Закричали несмело:
— Что же нам делать?
— Надо объединяться,
За дело браться
Своими руками
И не быть дураками!



Щелкун деревянный,
Солдатик оловянный,
Коровница Матрешка,
Ванька-Встанька безножка,
Кучер Николка
И медведь с волком
Всеобщую забастовку
Устроили ловко.



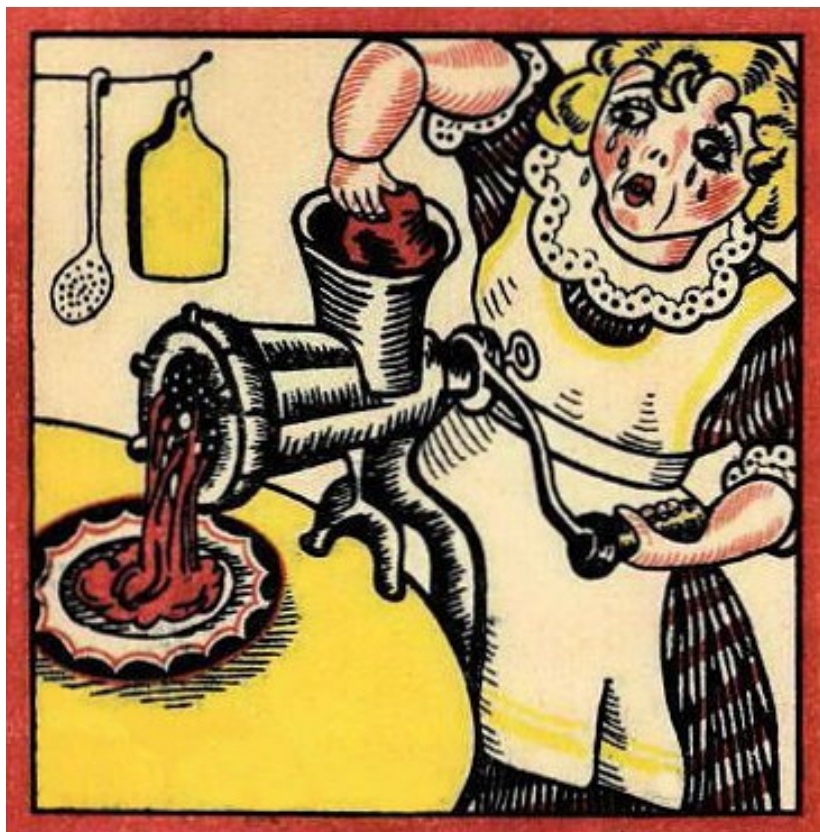
Орехов не щелкать!
Не спасать от волка!
Коров не доить!
Никуда не возить!
Сидит барыня, злится,
А ругаться боится.
Ударила б — да нельзя!
Куклы барыне грозят.

Говорит ей Щелкун-
— Ты не знаешь коммун!
А в коммуне орехи
Дают всем без помехи.
А не только одним
Барыням продувным.
Говорит ей Матрешка:
— Молока ведь немножко!
Так отдадим его детям,
А не барыням этим
В красивых платьях!
Все куклы — братья!
Говорит ей Ванька:
— Ну-ка, барыня, встань-ка!
Довольно я кувыркался,
Перед тобой ломался!
Теперь ты кувыркнись.
Рабочему люду поклонись!

Барыня закричала:
— Я пожалуюсь генералу!
Подошли медведь с волком
И сказали ей толком:
— Твоих генералов
Поломали мы немало.
Твоя песенка спета!
Вся власть советам,
А барыням — метелка,
Утюг и иголка.
Плохи твои делишки!
Отдавай излишки.
Подушки и постели,
Мы все поделим!
Работай до упаду,
Получишь фунт хлеба.
А уж мармеладу
Не дадим, не требуй!



Щелкун деревянный,
Солдатик оловянный,
Степка с Матрешкой,
Медведь, волк и безножка
Сели в сани всей кучей,
Приладили скамейку.
— Вези, товарищ кучер,
Всех нас в комячейку!



— А ты, барыня,
Вчерашняя сударыня,
Надевай фартук
И готовь нам завтрак!
Заплакала кукла,
Носик повесила.
Но делать нечего!
Мясорубкой застукала.

Всем куклам наука
От кукол этих!
Ведь много еще кукол
Глупых на свете!
Китаец бумажный
Живет неважно.
Черный арап
На борьбу еще слаб.
И много других
С головой куцою.
Всем им помощи
Устроить революцию!



Библиография

- Змия // Городецкий С. Рассказы. Кн. вторая. СПб., 1910.
- 3974 // Огонек. 1910. № 23, 5 (18) июня.
- Волхвы // Городецкий С. Рассказы. Кн. вторая. СПб., 1910.
- Маскарад // Городецкий С. Рассказы. Кн. вторая. СПб., 1910.
- Скала // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Кн. 8. СПб., 1909.
- Обещание // Летучие альманахи. [Вып.] 5. М., 1913.
- Погибшее согласие // Городецкий С. Кладбище страстей: Рассказы. Кн. 1ая. СПб., 1909.
- Специалисты // Городецкий С. Рассказы. Кн. вторая. СПб., 1910.
- Страшная усадьба // Аргус. 1913. № 4.
- Бриллиант // Лукоморье. 1916. № 17.
- Фирс // Родина. 1915. № 21.
- Тайная правда // Огонек. 1915. № 24, 14 (27) июня.
- Портрет умирающей // Аргус. 1913. № 2.
- В замке королевы Карин // Аргус. 1916. № 3.
- Голубая вуаль // Аргус. 1913. № 12.
- Геоскоп Каэна // Аргус. 1913. № 1.
- Царевна Слостена // Огоньки: Рождественский альманах для детей младшего возраста. 25 декабря 1912. М., 1912.

Непослушная Снегурка // Вербочки: Весенний альманах для детей младшего возраста. М., 1913.

Бунт кукол // [Городецкий С.]. Бунт кукол: Сказка и рис. С. Городецкого. М., 1925.



Тексты всех произведений публикуются по указанным изданиям с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

В оформлении обложки использован эскиз С. Городецкого к плакату «Помощь голодающим» (1923).

Оглавление

Змия: (Из рассказов лесничего)	5
3974	12
Волхвы	19
Маскарад	28
Скала	34
Обещание	40
Погибшее согласие	51
Специалисты	65
Страшная усадьба	72
Бриллиант	86
Фирс	102
Тайная правда	108
Портрет умирающей	117
В замке королевы Карин	125
Голубая вуаль	141
Геоскоп Каэна	167
<i>Приложения</i>	
Царевна Слостена: Сказка	176

Непослушная Снегурка: Весенняя сказка	185
Бунт кукол: Сказка	195
Библиография	209

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.